

Оглавление

Книга I

РОЗА МИРА И ЕЕ МЕСТО В ИСТОРИИ

<i>Глава 1.</i> Роза Мира и ее ближайшие задачи	9
<i>Глава 2.</i> Отношение к культуре	34
<i>Глава 3.</i> Отношение к религиям	51

Книга II

О МЕТАИСТОРИЧЕСКОМ И ТРАНСФИЗИЧЕСКОМ МЕТОДАХ ПОЗНАНИЯ

<i>Глава 1.</i> Некоторые особенности метаисторического метода	70
<i>Глава 2.</i> Немного о трансфизическом методе	87
<i>Глава 3.</i> Исходная концепция	106
1. Многослойность	106
2. Происхождение Зла. — Мировые законы. — Карма ...	110
3. К вопросу о свободе воли	118
4. Бытие и сознание	123
5. Разноматериальная структура человека	124
6. Метакультуры	126

Книга III

СТРУКТУРА ШАДАНАКАРА. МИРЫ ВОСХОДЯЩЕГО РЯДА

<i>Глава 1.</i> Сакуала Просветления	135
<i>Глава 2.</i> Затомисы	145
<i>Глава 3.</i> Средние слои Шаданакара	172

Книга IV
СТРУКТУРА ШАДАНАКАРА. ИНФРАФИЗИКА

<i>Глава 1. Основа</i>	190
<i>Глава 2. Миры Возмездия</i>	199
<i>Глава 3. Шрастры и уицраоры</i>	213

Книга V
СТРУКТУРА ШАДАНАКАРА. СТИХИАЛИ

<i>Глава 1. Демонические стихиаля</i>	228
<i>Глава 2. Светлые стихиаля</i>	239
<i>Глава 3. Отношение к животному царству</i>	248

Книга VI
ВЫСШИЕ МИРЫ ШАДАНАКАРА

<i>Глава 1. До Мировой Сальватэры</i>	272
<i>Глава 2. Логос Шаданакара</i>	281
<i>Глава 3. Женственность</i>	302

Книга VII
К МЕТАИСТОРИИ ДРЕВНЕЙ РУСИ

<i>Глава 1. Киевская Русь как явление метаисторическое</i>	317
<i>Глава 2. Христианский миф и прароссианство</i>	336
<i>Глава 3. Эпоха первого уицраора</i>	347

Книга VIII
К МЕТАИСТОРИИ ЦАРСТВА МОСКОВСКОГО

<i>Глава 1. Смена уицраоров</i>	355
<i>Глава 2. Эгрегор православия и инфрафизический страх</i> .	369
<i>Глава 3. Заполнение пространства между культурами</i>	379

<i>Глава 4. Родомысл Петр и демоническое искажение его миссии</i>	385
---	-----

Книга IX
К МЕТАИСТОРИИ ПЕТЕРБУРГСКОЙ ИМПЕРИИ

<i>Глава 1. Второй уицраор и внешнее пространство</i>	393
<i>Глава 2. Второй уицраор и внутреннее пространство</i>	411
<i>Глава 3. Снятие санкции</i>	417
<i>Глава 4. Подвиг</i>	426

Книга X
К МЕТАИСТОРИИ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ

<i>Глава 1. Дар вестничества</i>	437
<i>Глава 2. Миссии и судьбы</i>	452
<i>Глава 3. Миссии и судьбы (продолжение)</i>	468
<i>Глава 4. Миссии и судьбы (окончание)</i>	484
<i>Глава 5. Падение вестника</i>	496

Книга XI
К МЕТАИСТОРИИ ПОСЛЕДНЕГО СТОЛЕТИЯ

<i>Глава 1. Воцарение Третьего Жругра</i>	514
<i>Глава 2. Борьба с духовностью</i>	527
<i>Глава 3. Темный пастырь</i>	543
<i>Глава 4. К метаистории наших дней</i>	588

Книга XII
Возможности

<i>Глава 1. Воспитание человека облагороженного образа</i> ..	605
<i>Глава 2. Внешние меропрятия</i>	632
<i>Глава 3. Культ</i>	647

<i>Глава 4. Князь Тьмы</i>	667
<i>Глава 5. Смена эонов</i>	690
<i>Краткий словарь имен, терминов и названий, часто встречающихся в тексте</i>	699

Книга I
РОЗА МИРА И ЕЕ МЕСТО
В ИСТОРИИ

Глава I
РОЗА МИРА И ЕЕ БЛИЖАЙШИЕ ЗАДАЧИ

Эта книга начиналась, когда опасность неслыханного бедствия уже нависала над человечеством; когда поколение, едва начавшее оправляться от потрясений второй мировой войны, с ужасом убеждалось, что над горизонтом уже клубится, сгущаясь, странная мгла — предвестие катастрофы еще более грозной, войны еще более опустошающей. Я начинал эту книгу в самые глухие годы тирании, довлевшей над двумястами миллионами людей. Я начинал ее в тюрьме, носившей название политического изолятора. Я писал ее тайком. Рукопись я прятал, и добрые силы — люди и не люди — укрывали ее во время обысков. И каждый день я ожидал, что рукопись будет отобрана и уничтожена, как была уничтожена моя предыдущая работа, отнявшая десять лет жизни и приведшая меня в политический изолятор.

Книга «Роза Мира» заканчивается несколько лет спустя, когда опасность третьей мировой войны не поднимается уже, подобно мгlistым тучам, из-за горизонта, но простерлась над нашими головами, закрыв зенит и быстро спускаясь от него вниз, по всем сторонам небосклона.

А может быть, обойдется? — Такая надежда теплится в душе каждого, и без подобной надежды нельзя было бы жить. Одни пытаются подкрепить ее логическими доводами и активными действиями. Некоторые ухитряются убедить самих себя в том, будто опасность преувеличивается. Третьи стараются не думать о ней совсем, погружаясь в заботы своего маленького мирка и раз навсегда решив про себя: будь, что будет. Есть и такие, в чьей

душе надежда тлеет угасающей искрой, и кто живет, движется, работает лишь по инерции.

Я заканчиваю рукопись «Розы Мира» на свободе, в золотом осеннем саду. Тот, под чьим игом изнемогала страна, давно уже пожинает в иных мирах плоды того, что посеял в этом. И все-таки последние страницы рукописи я прячу так же, как прятал первые, и не смею посвятить в ее содержание ни единую живую душу, и по-прежнему нет у меня уверенности, что книга не будет уничтожена, что духовный опыт, которым она насыщена, окажется переданным хоть кому-нибудь.

А может быть — обойдется, тирания никогда не возвратится? Может быть, человечество сохранит навеки память о страшном историческом опыте России? — Такая надежда теплится в душе всякого, и без этой надежды было бы тошно жить.

Но я принадлежу к тем, кто смертельно ранен двумя великими бедствиями: мировыми войнами и единоличной тиранией. Такие люди не верят в то, что корни войн и тираний уже изжиты в человечестве или изживутся в короткий срок. Может быть отстранена опасность данной тирании, данной войны, но некоторое время спустя возникнет угроза следующих. Оба эти бедствия были для нас своего рода апокалипсисами — откровениями о могуществе мирового Зла и о его вековечной борьбе с силами Света. Люди других эпох, вероятно, не поняли бы нас; наша тревога показалась бы им преувеличенной, наше мироощущение — болезненным. Но не преувеличено такое представление об исторических закономерностях, какое выжглось в человеческом существе полувекowym созерцанием и соучастием в событиях и процессах небывалого размаха. И не может быть болезненным тот итог, который сформировался в человеческой душе как плод деятельности самых светлых и глубоких ее сторон.

Я тяжело болен, годы жизни моей сочтены. Если рукопись будет уничтожена или утрачена, я восстановить ее не успею. Но если она дойдет когда-нибудь хотя бы до нескольких человек, чья духовная жажда заставит их прочитать ее до конца, преодолевая все ее трудности, — идеи, заложенные в ней, не смогут не стать семенами, рождающими ростки в чужих сердцах.

И произойдет ли это еще до третьей мировой войны или после нее, или третья война не будет развязана в ближайшие годы вовсе — книга не умрет все равно, если хоть одни дружественные глаза пройдут, глава за главой, по ее страницам. Потому что во-

просы, на которые она пытается дать ответ, будут волновать людей еще и в далеком будущем.

Эти вопросы не исчерпываются проблематикой войны и государственного устройства. Но ничто не поколеблет меня в убеждении, что самые устрашающие опасности, которые грозят человечеству и сейчас и будут грозить еще не одно столетие, это — великая самоубийственная война и абсолютная всемирная тирания. Быть может, третью мировую войну — в нашу эпоху — человечество превозможет или, по крайней мере, уцелеет в ней, как уцелело оно в первой и во второй. Быть может, оно выдержит, так или иначе, тиранию еще более обширную и беспощадную, чем та, которую выдержали мы. Может случиться также, что через сто или двести лет возникнут новые опасности для народов, не менее губительные, чем тирания и великая война, но — иные. Возможно. Вероятно. Но никакие усилия разума, никакое воображение или интуиция не способны нарисовать опасностей грядущего, которые не были бы связаны, так или иначе, с одной из двух основных: с опасностью физического уничтожения человечества вследствие войны и опасностью его гибели духовной вследствие абсолютной всемирной тирании.

Книга направлена, прежде всего, против этих двух зол. Двух коренных, первичных зол. Она направлена против них — не как памфлет, не как разоблачающая сатира, не как проповедь. Самая жгучая сатира и самая пламенная проповедь — бесплодны, если они только бичуют зло и доказывают, что хорошее — хорошо, а дурное — дурно. Они бесплодны, если не основаны на знании основ того миропонимания, того универсального учения и той действенной программы, которые, распространяясь от ума к уму и от воли к воле, были бы способны отвратить от человечества эти две коренные опасности. Поделиться своим опытом с другими, приоткрыть картину исторических и метаисторических перспектив, ветвящуюся цепь дилемм, встающих перед нами или долженствующих возникнуть, панораму разноматериальных миров, тесно взаимосвязанных с нами в добре и зле, — вот задача моей жизни. Я стремился и стремлюсь ее выполнять в формах словесного искусства, в художественной прозе и в поэзии, но особенности этого искусства не позволяли мне раскрыть всю концепцию с надлежащею полнотой, изложить ее исчерпывающе, четко и общедоступно. Развернуть эту концепцию именно так, дать понять, каким образом в ней, трактующей об иноприродном, в то же время таится ключ и от текущих процессов исто-

рии, и от судьбы каждого из нас, — вот задача настоящей книги. Книги, которая, если Господь предохранит ее от гибели, должна вдвинуться, как один из многих кирпичей, в фундамент Розы Мира, в основу всечеловеческого Братства.

Существует инстанция, много веков претендующая на то, чтобы быть единственной неуклонной объединительницей людей, предотвращающей от них опасность войны всех против всех, опасность падения в хаос. Такая инстанция — государство. Со времен окончания родового строя на всех исторических этапах государство являлось существенной необходимостью. Даже иерократии, пытавшиеся его подменить властью религиозной, превращались в разновидности того же Государства. Государство цементировало общество на принципе насилия, а уровень нравственного развития, необходимый для того, чтобы цементировать общество на каком-либо принципе ином, не был достигнут. Конечно, он не достигнут и поднесь. Государство до сих пор остается единственным испытанным средством против социального хаоса. Но уясняется наличие в человечестве этических начал более высокого типа, способных не только поддерживать, но и совершенствовать социальную гармонию: и, что еще важнее, намечаются пути ускоренного развития этих начал.

В политической истории новейшего времени легко различаются две общечеловеческие направленности, полярные друг другу.

Одна из них стремится к переразвитию государственного начала как такового, к укреплению всесторонней зависимости личности от государства, точнее — от той инстанции, в руках которой находится государственный аппарат: партии, армии, вождя. Государства типа фашистского или национал-социалистического — ярчайший пример феноменов этого рода.

Другой поток явлений, возникший еще в XVIII веке, если не раньше, — это поток направленности гуманистической. Его истоки и главнейшие этапы — английский парламентаризм, французская Декларация прав человека, германская социал-демократия, наконец, освободительная борьба против колониализма. Дальняя цель этого потока явлений — ослабление цементирующего насилия в жизни народов и преобразование государства из полицейского по преимуществу аппарата, отстаивающего национальное или классовое господство, в аппарат всеобщего экономического равновесия и охраны прав личности. В исторической действительности имеются еще оригинальные образования,

могущие показаться как бы гибридами. По существу оставаясь феноменами первого типа, они видоизменяют собственное обличье в той мере, в какой это целесообразно для достижения поставленной цели. Это — лишь тактика, маскировка, не более.

И все же, несмотря на полярность этих потоков явлений, их объединяет одна черта, характернейшая для XX столетия: стремление ко всемирному. Внешний пафос различных движений нашего века — в их конструктивных программах нароудоустройств; но внутренний пафос новейшей истории — в стихийном стремлении ко всемирному.

Интернациональностью своей доктрины и планетарным размахом отличалось самое мощное движение 1-й половины нашего столетия. Ахиллесовой пятой движений, ему противоположавшихся — расизма, национал-социализма, — была их узкая националистичность, точнее — узкорасовые или национальные границы тех блаженных зон, химерою которых они прельщали и завораживали. Но к мировому владычеству стремились и они, и притом с колоссальной энергией. Теперь космополитический американизм озабочен тем, чтобы избежать ошибок своих предшественников.

На что указывает это знамение времени? Не на то ли, что всемирность, перестав быть абстрактной идеей, сделалась всеобщей потребностью? Не на то ли, что мир стал неделим и тесен, как никогда? Не на то ли, наконец, что решение всех насущных проблем может быть коренным и прочным лишь при условии всемирных масштабов этого решения?

Деспотические образования планомерно осуществляют при этом принцип крайнего насилия либо хитрым сочетанием методов частично вуалируют его. Темпы убыстряются. Возникают такие государственные громады, на сооружение каких раньше потребовались бы века. Каждое хищно по своей природе, каждое стремится навязать человечеству именно свою власть. Их военная и техническая мощь становится головокружительной. Они уже столько раз ввергали мир в пучину войн и тираний, — где гарантии, что они не ввергнут его еще и еще? И наконец сильнейший победит во всемирном масштабе, хотя бы это стоило превращения трети планеты в лунный ландшафт. Тогда цикл закончится, чтобы уступить место наибольшему из зол: единой диктатуре над уцелевшими двумя третями мира — сперва, быть может, олигархической, а затем, как это обычно случается на втором этапе диктатур, — единоличной. Это и есть угроза, самая

страшная из всех, нависавших над человечеством: угроза всечеловеческой тирании.

Сознательно или бессознательно предчувствуя эту опасность, движения гуманистической направленности пробуют консолидировать свои усилия. Они лепечут о культурном сотрудничестве, размахивают лозунгами пацифизма и демократических свобод, ищут призрачного спасения в нейтралитете либо же, испуганные агрессивностью противника, сами вступают на его путь. Бесспорной, всем доверие внушающей цели, то есть идеи о том, что над деятельностью государств насущно необходим этический контроль, не выдвинуло ни одно из них. Некоторые общества, травмированные ужасами мировых войн, пытаются объединиться с тем, чтобы в дальнейшем политическое объединение охватило весь земной шар. Но к чему теперь привело бы и это? Опасность войн, правда, была бы устранена, по крайней мере временно. Но где гарантии того, что это сверхгосударство, опираясь на обширные нравственно отсталые слои — а таких на свете еще гораздо больше, чем хотелось бы — и расшевеливая неизжитые в человечестве инстинкты властолюбия и мучительства, не перерастет опять-таки в диктатуру и, наконец, в тиранию, такую, перед которой все прежние покажутся забавой?

Знаменательно, что именно религиозные конфессии, раньше всех провозгласившие интернациональные идеалы братства, теперь оказываются в арьергарде всеобщего устремления ко всемирному. Возможно, в этом сказывается характерное для них сосредоточение внимания на внутреннем человеке, пренебрежение всем внешним, а ко внешнему относят и проблему социального устройства человечества. Но если взглянуть глубже, если сказать во всеуслышание то, что говорят обычно лишь в узких кругах людей, живущих интенсивной религиозной жизнью, то обнаружится нечто, не всеми учитываемое. Это возникший еще во времена древнеримской империи мистический ужас перед грядущим объединением мира, это неутолимая тревога за человечество, ибо в едином общечеловеческом государстве предчувствуется западня, откуда единственный выход будет к абсолютному единовластию, к царству «князя мира сего», к последним катаклизмам истории и к ее катастрофическому перерыву.

Да и в самом деле: где гарантии, что во главе сверхгосударства не окажется великий честолюбец и наука послужит ему верой и правдой, как орудие для превращения этого сверхгосударства

именно в ту чудовищную машину мучительства и духовного калечения, о которой я говорю? Можно ли сомневаться, что даже уже и теперь создаются предпосылки для изобретения совершенного контроля за поведением людей и за образом их мышления? Где границы тем кошмарным перспективам, которые возникают перед нашим воображением в результате скрещения двух факторов: террористического единовластия и техники XXI столетия? Тирания будет тем более абсолютной, что тогда закроется даже последний, трагический путь избавления: сокрушение тирании извне в итоге военного поражения: воевать будет не с кем, подчинены будут все. И всемирное единство, мечтавшееся стольким поколениям, потребовавшее стольких жертв, обернется своей демонической стороной: своей *безвыходностью* в том случае, если руководство этим единством возьмут ставленники темных сил.

На горьком опыте человечество убеждается уже и теперь, что ни те социально-экономические движения, шефство над которыми берет голый рассудок, ни достижения науки сами по себе не в состоянии провести человечество между Харибдой и Сциллой – тираниями и мировыми войнами. Хуже того: новые социально-экономические системы, приходя к господству, сами облекаются в механизмы политических деспотий, сами становятся сеятелями и разжигателями мировых войн. Наука превращается в их послушную служанку, куда более послушную и надежную, чем была церковь для феодальных владык. Трагедия коренится в том, что научная деятельность с самого начала не была сопряжена с глубоко продуманным нравственным воспитанием. К этой деятельности допускались все, независимо от уровня их нравственного развития. Неудивительно, что каждый успех науки и техники обращается теперь одной стороной против подлинных интересов человечества. Двигатель внутреннего сгорания, радио, авиация, атомная энергия – все ударяет одним концом по живой плоти народов. А развитие средств связи и технические достижения, позволяющие полицейскому режиму контролировать интимную жизнь и сокровенные мысли каждого, подводят железную базу под вампирические громады диктатур.

Таким образом, опыт истории подводит человечество к пониманию того очевидного факта, что опасности будут предотвращены и социальная гармония достигнута не развитием науки и техники самих по себе, не переразвитием государственного на-

чала, не диктатурой «сильного человека», не приходом к власти пацифистских организаций социал-демократического типа, качаемых историческими ветрами то вправо, то влево, от бессильного прекраснодушия до революционного максимализма, — но признанием насущной необходимости одного-единственного пути: установления над Всемирной федерацией государств некоей незапятнанной, неподкупной высокоавторитетной инстанции, инстанции этической, внесударственной и надгосударственной, ибо природа государства внеэтична по своему существу.

Какая же идея, какое учение помогут создать подобный контроль? Какие умы его выработают и сделают приемлемым для громадного большинства? Какими путями придет такая инстанция к общечеловеческому признанию, на высоту, господствующую даже над Федерацией государств, — она, отвергающая насилие? Если же она примет к руководству принцип постепенной замены насилия чем-то другим, то чем же именно и в какой последовательности? И какая доктрина сможет разрешить все возникающие в связи с этим проблемы с их неимоверной сложностью?

Настоящая книга стремится дать, в какой-то мере, на эти вопросы ответ, хотя общая тематика ее шире. Но, подготавливаясь к ответу, следует ясно сформулировать сперва, в чем же это учение видит своего непримиримейшего врага и против чего — или кого — оно направлено.

В историческом плане оно видит своих врагов в любых державах, партиях и доктринах, стремящихся к насильственному порабощению других и к каким бы то ни было формам и видам деспотических народоустройств. В метаисторическом же плане оно видит своего врага в одном: в Противобогге, в тиранствующем духе, Великом Мучителе, многообразно проявляющем себя в жизни нашей планеты. Для движения, о котором я говорю, и сейчас, когда оно едва пытается возникнуть, и потом, когда оно станет решающим голосом истории, врагом будет одно: стремление к тирании и к жестокому насилию, где бы оно ни возникало, хотя бы в нем самом. Насилие может быть признано годным лишь в меру крайней необходимости, только в смягченных формах и лишь до тех пор, пока наивысшая инстанция путем усовершенствованного воспитания не подготовит человечество при помощи миллионов высокоидейных умов и волею к замене принуждения — добровольностью, окриков внешнего закона — голосом глубокой совести, а государства — братством. Другими сло-

вами, пока самая сущность государства не будет преобразована, а живое братство всех не сменит бездушного аппарата государственного насилия.

Не обязательно надо предполагать, что подобный процесс займет непременно огромный отрезок времени. Исторический опыт великих диктатур, с необыкновенной энергией и планомерностью охватывавших население громадных стран единой, строго продуманной системой воспитания и образования, неопровержимо доказал, какой силы рычаг заключен в этом пути воздействия на психику поколений. Поколения формировались все ближе к тому, что представлялось желательным для властей предрежащих. Нацистская Германия, например, ухитрилась добиться своего даже на глазах одного поколения. Ясное дело, ничего, кроме гнева и омерзения, не могут вызвать в нас ее идеалы. Не только идеалы — даже методика ее должна быть отринута нами почти полностью. Но рычаг, ею открытый, должен быть взят нами в руки и крепко сжат. Приближается век побед широкого духовного просвещения, решающих завоеваний новой, теперь еще едва намечаемой педагогики. Если бы хоть несколько десятков школ были предоставлены в ее распоряжение, в них формировалось бы поколение, способное к выполнению долга не по принуждению, а по доброй воле; не из страха, а из творческого импульса и любви. В этом и заключен смысл воспитания *человека благородного образа*.

Мне представляется международная организация, политическая и культурная, ставящая своею целью преобразование сущности государства путем последовательного осуществления всеохватывающих реформ. Решающая ступень к этой цели — создание Всемирной федерации государств как независимых членом, но с тем, чтобы над Федерацией была установлена особая инстанция, о которой я уже упоминал: инстанция, осуществляющая контроль над деятельностью государств и руководящая их бескровным и безболезненным преобразованием изнутри. Именно бескровным и безболезненным: в этом все дело, в этом ее отличие от революционных доктрин прошлого.

Какова будет структура этой организации, каково ее наименование — предугадывать это мне представляется преждевременным и ненужным. Назовем ее пока условно, чтобы не повторять каждый раз многословных описаний, Лигой преобразования сущности государства. Что же до ее структуры, то те, кто станут ее организаторами, будут и опытнее, и практичнее меня: это бу-

дут общественные деятели, а не поэты. Могу только сказать, что лично мне рисуется так, что Лига должна располагать своими филиалами во всех странах, причем каждый филиал обладает несколькими аспектами: культурным, филантропическим, воспитательным, политическим. Такой политический аспект каждого филиала превратится, структурно и организационно, в национальную партию Всемирной религиозной и культурной реформы. В Лиге и Лигой все эти партии будут связаны и объединены.

Как именно, где и среди кого произойдет формирование Лиги, я, конечно, не знаю и знать не могу. Но ясно, что период от ее возникновения до создания Федерации государств и этической инстанции над ними должен рассматриваться как период подготовительный, период, когда Лига будет отдавать все силы распространению своих идей, формированию своих рядов, расширению организации, воспитанию подрастающих поколений и созданию внутри себя той будущей инстанции, которой со временем может быть доверена всемирная руководящая роль.

Устав Лиги не может препятствовать пребыванию в ее рядах людей различных философских и религиозных убеждений. Требуется лишь готовность деятельно участвовать в осуществлении ее программы и решимость не нарушать ее моральных установлений, принятых как краеугольная плита.

Во всех превратностях общественной жизни и политической борьбы успехи Лиги должны достигаться не ценой отступления от ее нравственного кодекса, а именно вследствие верности ему. Ее репутация должна быть незапятнанной, бескорыстие — не подлежащим сомнению, авторитет — возрастающим: ибо в нее будут стекать и ее непрерывно укреплять лучшие силы человечества.

Вероятнее всего, что путь ко всемирному объединению ляжет через лестницу различных ступеней международной солидарности, через объединение и слияние региональных содружеств; последней ступенью такой лестницы представляется всемирный референдум или плебисцит — та или иная форма свободного волеизъявления всех. Возможно, что он приведет к победе Лиги лишь в отдельных странах. Но за нее будет сам исторический ход вещей. Объединение хотя бы половины земного шара довершит глубокий сдвиг в сознании народов. Состоится второй референдум, может быть третий, и десятилетием раньше или позже границы Федерации совпадут с границами человечества. Тогда откроется практическая возможность к

осуществлению цепи широких мероприятий ради превращения конгломерата государств в монолит, постепенно преобразуемый двумя параллельными процессами: внешним — политико-социально-экономическим и внутренним — воспитательно-этико-религиозным.

Ясно из всего этого, что деятели Лиги и ее национальных партий смогут бороться только словом и собственным примером и только с теми идеологиями и доктринами, которые стремятся расчистить путь для каких бы то ни было диктатур или поддержать эти диктатуры у кормила власти. Своих исторических предшественников, хотя и действовавших в узконациональных масштабах, Лига увидит в великом Махатме Ганди и в партии, вдохновлявшейся им. Первый в новой истории государственный деятель-праведник, он утвердил чисто политическое движение на основе высокой этики и опроверг ходячее мнение, будто политика и мораль несовместимы. Но национальные рамки, в которых действовал Индийский национальный конгресс, Лига раздвинет до планетарных границ, а цели ее — следующая историческая ступень или ряд ступеней по сравнению с теми, какие ставила себе великая партия, освободившая Индию.

О, конечно, найдется немало людей, которые станут утверждать, будто методика Лиги — непрактична и нереальна. Ах уж мне эти поборники политического реализма! Нет безнравственности, нет социальной гнусности, которая не прикрывалась бы этим жалким фиговым листком. Нет груза более мертвенного, более приземляющего, чем толки о политическом реализме как противовесе всему крылатому, всему вдохновенному, всему духовному. Политические реалисты — это, между прочим, и те, кто в свое время уверял, даже в самой Индии, что Ганди — фантаст и мечтатель. Им пришлось стиснуть зубы и прикусить язык, когда Ганди и его партия именно на пути высокой этики добились освобождения страны и повели ее дальше, к процветанию. Не ко внешнему процветанию, которое порошит людям глаза черной пылью цифр о росте добычи угля или радиоактивным пеплом от экспериментальных взрывов водородных бомб, а к процветанию культурному, этическому и эстетическому — процветанию духовному, неспешно, но прочно влекущему за собой и процветание материальное.

Обвинять Лигу в нереальности методов будут также те, кто не способен видеть лучшее в человеке; чья психика огрубела, а совесть захирела в атмосфере грубого государственного произ-

вола. К ним присоединятся и те, кто не предвидит, какие сдвиги массового сознания ждут нас в недалекие уже годы. Травмированность войнами, репрессиями и всевозможными насилиями даже теперь вызывает широкое движение за сосуществование и за мир. Постоянно совершаются и будут совершаться события, разрушающие чувство безопасности, не оставляющие ничего от уюта и покоя, подрывающие корни доверия к существующим идеологиям и к охраняемому ими порядку вещей. Разоблачение неслыханных ужасов, творившихся за помпезными фасадами диктатур, наглядное уяснение, на чем воздвигались и чем оплачивались их временные победы, их внешние успехи — все это иссушает душу как раскаленный ветер, и духовная жажда делается нестерпима. Об отстранении угрозы великих войн; о путях к объединению мира без кровопролитий; о светоносце-праведнике, грядущем возглавить объединенное человечество; об ослаблении насилия государств и о возрастании духа братства — вот о чем молятся верующие и мечтают неверующие в наш век. И вероятно в высшей степени, что мирообъемлющее крылатое учение — и нравственное, и политическое, и философское, и религиозное — претворит эту жажду поколения во всенародный творческий энтузиазм.

То обстоятельство, что последнее крупное религиозное движение в человечестве — протестантская Реформация — имело место четыреста лет назад, а последняя религия мирового значения, ислам, насчитывает уже тринадцать веков существования, — выдвигается иногда как аргумент в пользу мнения, что религиозная эра в человечестве завершилась. Но о потенциальных возможностях религии как таковой, а не отдельных форм ее судить следует не по тому, как давно возникли последние крупные ее формы, а по тому, зашла ли эволюция религии в тупик, имеется ли возможность сочетать религиозную творческую мысль с бесспорными тезисами науки, а также еще и по тому, брезжут ли перед таким мировоззрением перспективы осмысления жизненного материала новых эпох и возможно ли действенное и прогрессивное влияние религии на этот материал.

Действительно, с последнего крупного религиозного движения международного размаха прошло около четырехсот лет. Но ведь и перед протестантской Реформацией подобных движений не было много столетий. Да и в этом ли дело? Разве еще не ясно, что определенное русло идейной, творческой работы человечества в последние века вбирало в себя почти все его духов-

ные и умственные силы? Трудно было бы ожидать, чтобы, осуществляя такой стремительный прогресс — научный, технический и социальный, создавая такие культурные ценности, как литература, музыка, философия, искусство и наука последних веков, человечество нашло бы в себе силы одновременно творить еще и универсальные религиозные системы.

Но рубеж XX века как раз и явился той эпохой, когда закончился расцвет великих литератур и искусств, великой музыки и философии. Область социально-политического действия вовлекает в себя — и чем дальше, тем определенной — не наиболее духовных представителей человеческого рода, а как раз наименее духовных. Образовался гигантский вакуум духовности, не существовавший еще 50 лет назад, и гипертрофированная наука бесцельна его заполнить. Если позволительно подобрать такое выражение, колоссальные ресурсы человеческой гениальности не расходуются никуда. Это и есть то лоно творческих сил, в котором зреет предопределенная к рождению всечеловеческая интеррелигия.

Сможет ли религия — не старинные ее формы, а та религия итога, которой ныне чреват мир, предотвратить наиболее грозные из нависших над человечеством опасностей: всемирные войны и всемирную тиранию? — Предотвратит ли ближайшую мировую войну она, вероятно, не в состоянии: если третья война вспыхнет, то произойдет это бедствие, вероятно, раньше, чем даже успеет возникнуть Лига. Но в предотвращении всех войн, опасность которых будет возникать после того, как сформируется ядро грядущей интеррелигии, так же как и в предотвращении всемирной тирании, — ее ближайшая цель. Может ли эта религия достичь наибольшей гармонии между свободой личности и интересами человечества, какая только мыслима на данном этапе истории? — Но это лишь другой аспект той же самой ее ближайшей цели. Будет ли она способствовать всестороннему развитию заложенных в человеке творческих способностей? — Да, кроме способностей демонических, то есть способностей к тиранированию, мучительству и к самоутверждению за счет остальных живых существ. Требуется ли она для своего торжества кровавых жертв, как другие движения всемирной направленности? — Нет, исключая те случаи, когда ее проповедникам придется, может быть, собственной кровью засвидетельствовать свою верность идее. Противоречат ли ее тезисы — не философской доктрине материализма (ей-то они, конечно, противоречат во

всех пунктах от А до Я), а объективным и общеобязательным тезисам современной науки? — Ни в одной букве или цифре. Можно ли предвидеть установление в эпоху ее гегемонии такого режима, когда инакомыслие будет преследоваться, когда она будет навязывать свои догматы философии, науке, искусству? — Как раз наоборот: от частичных ограничений свободы мысли — вначале, к неограниченной свободе мысли — потом: таков предлагаемый ею путь. — Что же остается от аргумента, что религия не способна ответить на насущные вопросы времени, а тем более — практически разрешить их?

С полным правом и основанием такой упрек может быть брошен не религии, а, увы, науке. Как раз именно система взглядов, которая не выглядывает ни вправо, ни влево за пределы того, что очерчивается современным научным знанием, не способна дать ответа на самые коренные, самые элементарные вопросы. — Существует ли Первопричина, Творец, Бог? Неизвестно. — Существует ли душа или что-либо подобное ей, и бессмертна ли она? Этого наука не знает. — Что такое время, пространство, материя, энергия? Об этом мнения резко расходятся. — Вечен ли и бесконечен мир или, напротив, ограничен во времени и в пространстве? Материала для твердого ответа на эти вопросы у науки не имеется. — Ради чего я должен делать добро, а не зло, если зло мне нравится, а от наказания я могу уберечься? Ответы невразумительны совершенно. — Как воспользоваться наукой, чтобы предотвратить возможность войн и тираний? Молчание. — Как достичь, с наименьшим числом жертв, социальной гармонии? Выдвигаются взаимоисключающие предложения, сходные только в одном: в том, что все они в равной мере не имеют отношения к строгой науке. Естественно, что на таких шатких, субъективных, действительно псевдонаучных основаниях возникали лишь учения классового, расового, национального и партийного эгоизма, то есть как раз те, чье призвание заключается в оправдании диктатур и войн. Низкий уровень духовности — отличительная черта подобных учений. Следовательно, искомая этическая инстанция может быть построена на основе не так называемого научного мировоззрения — такого, в сущности, и не существует, — а на приобщении к духовному миру, на восприятии лучей, льющихя оттуда в сердце, разум и совесть, и на осуществлении во всех сферах жизни завета деятельной и творческой любви. Нравственный уровень, вполне отвечающий перечисленным признакам, называется праведностью.

Распространен еще и другой предрассудок: взгляд на религию как на явление, реакционное по своему существу, а тем более в нашу эпоху. Но говорить о реакционности или устарелости религии вообще, безотносительно к ее конкретным формам, так же бессмысленно, как доказывать реакционность искусства вообще или философии вообще. Тот, кто мыслит динамически, кто видит эволюционирующие ряды фактов и процессы, которыми формируются эти ряды, тот сумеет и в искусстве, и в религии, и в любой области человеческой деятельности разглядеть наличие реакционных и прогрессивных форм. Реакционных форм религии можно встретить сколько угодно и даже больше, чем нам хотелось бы, но это не имеет никакого касательства к той рождающейся религии итога, которой эта книга посвящена. Ибо в нашем столетии не было и нет ни более прогрессивных целей, ни более прогрессивных методов, чем те, которые слиты воедино с этой религией. Что же до претензий научного метода на некое верховенство, то научный метод столь же бессилен вытеснить из жизни методы художественный и религиозный в широком смысле слова, как и его самого не могла в свое время вытеснить агрессивная религиозность. Потому что методы эти различествуют между собой не только в том, *как*, но и в том, *что* ими познается. В прошлом столетии, под впечатлением стремительного прогресса в науке и технике, пророчили гибель искусства. Прошло сто лет, и соцветие искусств не только не погубило, но обогатилось еще одним: искусством кино. Сорок или тридцать лет назад многим в России казалась неизбежной гибель религии вследствие прогресса научного и социального. И однако же соцветие религий не только не погубило, несмотря на все средства, ради этого мобилизованные, но именно под влиянием научного и социального прогресса обогащается тем, что сделает мировую религиозность вместо сочетания разрозненных лепестков целокупным и единым духовным цветком — Розою Мира.

Из всего вышесказанного вытекает, что религиозное движение, которое включит в свое миросозерцание и практику положительный опыт человечества, а из отрицательного сделает выводы, требующие слишком много мужества и прямоты, чтобы быть сделанными на путях других течений общественной мысли; движение, которое ставит своими ближайшими целями преобразование государства в братство, объединение земли и воспитание человека облагороженного образа; движение, которое

предохранит себя от искажения идеала и методики нерушимой броней высокой нравственности, — такое движение не может не быть признано прогрессивным, перспективным и творчески молодым.

Броней нравственности! Но на каких основах может создаваться такая нравственность? Я говорил о праведности. Но разве не утопия праведность целых общественных кругов, а не единиц?

Следует уточнить, что понимается здесь под праведностью. Праведность не есть непременно плод монашеской аскезы. Праведность есть высшая ступень нравственного развития человека; тот, кто ее превысил, — уже не праведник, а святой. Формы же праведности разнообразны; они зависят от времени, места и человеческого характера. Можно сказать обобщенно: праведность — в негативном аспекте — есть такое состояние человека, устойчивое и оканчивающееся только с его смертью, при котором его воля освобождена от импульсов себялюбия, разум — от захваченности материальными интересами, а сердце — от кипения случайных, мутных, принижающих душу эмоций. В позитивном же аспекте — праведность есть проникание деятельной любовью к Богу, людям и миру всей внешней и внутренней деятельности человека.

Вряд ли психологический климат для возникновения нравственной инстанции, основанной именно на праведности, может быть где-либо подготовлен лучше, чем в обществе, объединившемся в чаянии ее возникновения и в этом видящем свой смысл и цель. Но как раз таким обществом должна быть Лига. В числе ее членов могут оказаться даже атеисты. Но основной тезис Лиги — необходимость превыше государств всемирной этической инстанции; именно он сплотит наиболее одушевленных, творческих, деятельных и одаренных членов ее в ядро. Ядро, для которого характерна атмосфера неустанного духовного созидания, деятельной любви и чистоты. Ядро, состоящее из людей, достаточно просвещенных, чтобы понимать не только опасность, грозящую каждому из них вследствие разнуздания импульсов самости, но и опасность того слишком внешнего понимания религиозно-нравственных ценностей, которое приводит к этическому формализму, лицемерию, душевной черствости и ханжеству.

Никто, кроме Господа Бога, не знает, где и когда затеплится первый огонь Розы Мира. Страна — Россия — только предрекана; еще возможны трагические события, которые осложнят со-

вершение этого мистического акта и принудят перенести его в другую страну. Эпоха — шестидесятые годы нашего века — только намечена; возможны гибельные катаклизмы, которые отодвигнут эту дату на длительный ряд лет. Возможно, что средой, где затеплится первый пламень, окажется не Лига преобразования сущности государства, а иной, сейчас еще не предугаданный круг людей. Но там ли, здесь ли, в этой стране или в другой, раньше на десятилетие или позже, интеррелигиозная, всечеловеческая церковь новых времен, Роза Мира, явится как итог духовной деятельности множества, как соборное творчество людей, ставших под низливающийся поток откровения, — явится, возникнет, вступит на исторический путь.

Религия, интеррелигия, церковь — нужной точности я не могу достигнуть при помощи ни одного из этих слов. Ряд коренных ее отличий от старых религий и церквей со временем принудит выработать в применении к ней слова иные. Но и без того предстоит вводить в кругооборот этой книгой столь обширный запас новых слов, что здесь, в самом начале, предпочтительнее прибегнуть не к этим словам, а к описательному определению отличительных черт того, что должно именоваться Розою Мира.

Это не есть замкнутая религиозная конфессия, истинная или ложная. Это не есть и международное религиозное общество вроде теософического, антропософского или масонского, составленного, наподобие букета, из отдельных цветов религиозных истин, эклектически сорванных на всевозможных религиозных лугах. Это есть интеррелигия или панрелигия в том смысле, что ее следует понимать как универсальное учение, указующее такой угол зрения на религии, возникшие ранее, при котором все они оказываются отражениями различных пластов духовной реальности, различных рядов иноматериальных фактов, различных сегментов планетарного космоса¹. Этот угол зрения обнимает Шаданакар как целое и как часть божественного космоса вселенной. Если старые религии — лепестки, то Роза Ми-

1 Под планетарным космосом понимается совокупность слоев различной материальности, различного числа пространственных и временных координат, но непременно связанных со сферой Земли как планеты. Планетарный космос — это земной шар во всей сложности материальных (а не физических только) слоев его бытия. Подобные могучие системы имеются у множества небесных тел. Они называются *брамфатурами*. *Брамфатура* Земли носит имя *Шаданакар*. Об этих словах, как и о многих других, употребляемых здесь впервые или же измененных новым смыслом, в них влагаемым, следует посмотреть небольшой словарь, приложенный в конце. (*Здесь и далее, кроме особо оговоренных, примеч. Д. Андреева.*)

ра — цветок: с корнем, стеблем, чашей и всем содружеством его лепестков.

Второе отличие: универсальность устремлений Розы Мира и их историческая конкретность. Задачу преобразования социального тела человечества не ставила перед собой ни одна религия, исключая средневековый католицизм. Но и папство, упорно старавшееся замкнуть феодальный хаос дамбами иерократии, не сумело ни ослабить эксплуатацию неимущих имущими, ни уменьшить широкими реформами социальное неравенство, ни повысить общее благосостояние. Впрочем, обвинять в этом ведущую католическую иерархию было бы несправедливостью: для подобных преобразований еще не было материальных средств, ни экономических, ни технических. Не случайно зло мира ощущалось испокон веков и вплоть до нового времени неустранимым и вечным, и католицизм, по существу, обращался, как и остальные религии, лишь к «внутреннему человеку», учил личному совершенствованию. Но времена изменились, материальные средства появились, и заслуга всего исторического процесса, а не самой Розы Мира в том, что она сможет теперь смотреть на социальные преобразования не как на внешнее, обреченное на неудачу и не заслуживающее усилий, но ставить их в неразрывную связь с совершенствованием внутреннего мира человека: теперь это два параллельных процесса, которые должны друг друга восполнять. Нередко слышишь: «Христианство не удалось». Да, если бы оно все было в прошлом, можно было бы говорить, что в социальном и всемирно-нравственном отношении оно не удалось. «Религия не удалась». Да, если бы религиозное творчество человечества исчерпалось тем, что уже создано, религия в только что упомянутом смысле действительно не удалась бы. А пока справедливо говорить об этом только так: добиться существенного уменьшения социального зла старые религии не могли, так как не располагали необходимыми для этого материальными средствами, и отсутствие этих средств вызвало их отрицательное отношение ко всем подобным попыткам. Этим был подготовлен безрелигиозный этап цивилизации. В XVIII веке пробудилась социальная совесть. Социальная дисгармония была наконец почувствована и осознана как нечто недопустимое, оскорбляющее, требующее преодоления. Конечно, это находилось в связи с тем, что начали появляться недостававшие для этого материальные средства. Но старые религии не сумели этого понять, не захотели этими средствами воспользоваться, не пожелали воз-

главить процесс социального преобразования, и именно в этой косности, в этой умственной лени, в этой идейной неподвижности и узости — их тягчайшая вина. Религия дискредитировала себя своей вековой беспомощностью в этом отношении, и не приходится удивляться противоположной крайности, в которую впала Европа, а затем и другие континенты: преобразованию общества чисто механическими средствами при полном отказе от духовной стороны того же процесса. Нечего, конечно, удивляться и итогу: потрясениям, каких не видал мир, масштабам жертв, какие никогда не рисовались даже в бреду, и такому снижению этического уровня, самая возможность которого в XX веке представляется до сих пор многим мрачной и трагической загадкой. На старые религии падает в значительной степени ответственность за глубину и упорство последующего безрелигиозного этапа, за духовную судьбу миллионов душ, которые, ради борьбы за справедливое мироустройство, противопоставили себя религии вообще и этим вырвали корни своего бытия из лона мировой духовности. Но истинная религиозная деятельность есть своего рода общественное служение, а истинное общественное служение есть в то же время религиозная деятельность. Никакое религиозное делание, даже подвиг инока, не может быть изолировано от общего, от труда на пользу всемирного просветления; и никакая общественная деятельность, кроме демонической, не может не влиять на увеличение суммы мирового добра, то есть не иметь религиозного смысла. Биение социальной совести, действенное социальное сострадание и сорадование, неустанные практические усилия ради преобразования общественного тела человечества — вот второе отличие Розы Мира от старинных религий.

Третье отличие: динамичность ее воззрений. Религии, не чуждые представлениям о метаистории, уже были: иудаизм, раннее христианство, но лишь в далекие от нас и притом короткие периоды своего становления они пытались духовно осмыслить текущий исторический процесс. В те короткие, полузабытые эпохи поразительные прозрения Апокалипсиса оставались открытыми от глаз людей покровом иносказаний и недомолвок; шифр образов допускал всевозможные толкования. Подлинного осмысления исторического процесса так и не состоялось. Исторический опыт был еще мал и узок, географический кругозор ничтожен, мистический разум не был подготовлен к постижению внутренних закономерностей метаистории и невероятной

сложности Шаданакара. Но явлению Розы Мира предшествовала эра гегемонии науки, в самых корнях потрясшая представление о вселенной, о народах, культурах и их судьбе. Предшествовало ей и другое: эпоха коренных сдвигов и сбросов социальных, эпоха революций и планетарных войн. Оба ряда явлений взрыхлили психологические пласты, столько веков пребывавшие в неподвижности. В почву, взрытую железными зубьями исторических катастроф, падают семена метаисторического откровения. И приоткрывается духовному взору весь планетарный космос как непрерывно меняющаяся система разнозначных миров, бурно несущаяся к ослепительной цели, одухотворяющаяся и преобразующаяся от века к веку, ото дня ко дню. Начинают сквозить ряды предстоящих эпох, каждая — во всем своем неповторимом своеобразии, в переплетении борющихся в ней метаисторических начал. Стремление Розы Мира — в том, чтобы стать восприимчивой, умножательницей и толковательницей этого познания. Соборный мистический разум живущего человечества, она будет осмысливать исторический процесс в его прошлом, настоящем и будущем, чтобы вступить в творческое руководство им. Если и можно будет говорить о каких-либо догматах в ее учении, то это догматика глубоко динамичная, многоаспектная, способная к дальнейшему обогащению и развитию, к длительному совершенствованию.

Отсюда вытекает и еще одно, четвертое, отличие Розы Мира: перспектива последовательных, стоящих перед нею духовно-исторических задач, вполне конкретных и принципиально осуществимых. Перечислю еще раз ближайшие из них: объединение земного шара в Федерацию государств с этической контролирующей инстанцией над нею, распространение материального достатка и высокого культурного уровня на население всех стран, воспитание поколений облагороженного образа, воссоединение христианских церквей и свободная уния со всеми религиями светлой направленности, превращение планеты — в сад, а государств — в братство. Но это — задачи лишь первой очереди. Их осуществление откроет путь к разрешению задач еще более высоких: к одухотворению природы.

Итак: интеррелигиозность, универсальность социальных стремлений и их конкретность, динамичность воззрений и последовательность всемирно-исторических задач — вот черты, отличающие Розу Мира от всех религий и церквей прошлого. Бескровность ее дорог, безболезненность ее реформ, доброта и

ласка в отношении к людям, волны душевного тепла, распространяемые вокруг, — вот черты, отличающие ее от всех политико-социальных движений прошлого и настоящего.

Ясно, что сущность государства, равно как и этический облик общества, не может быть преобразована в мгновение ока. Сразу же полный отказ от принуждения — утопия. Но этот элемент будет убывать во времени и в общественном пространстве. Всякая дисциплина слагается из элементов принуждения и сознательности, и от соотношения между собою этих двух элементов зависит тот или иной род дисциплины. Наибольшим процентом принуждения и почти полным отсутствием сознательности обладает дисциплина рабовладельческих хозяйств, тюрем и концентрационных лагерей. Немного больше процент сознательности в воинской муштре. И дальше, по мере ослабления в дисциплинарных системах элемента принуждения, возрастает и заменяет его собой категорический императив внутренней самодисциплины. На воспитании именно этого импульса построится вся новая педагогика. О ее принципах и методах, как и о методах перевоспитания и возрождения преступников, речь пойдет еще не скоро — в одной из последних глав. Но ясно, думается, уже и теперь, что стимул внешнего принуждения быстрее всего будет отмирать во внутренних концентрических кругах Розы Мира: ибо именно людьми, целиком спаявшими свою жизнь с ее задачами и с ее этикой и уже не нуждающимися во внешнем принуждении, наполнятся эти внутренние круги. Именно такие люди будут являться ее совестью, и кем же, как не ими, должны быть заняты кресла Верховного Собора?

Да и можно ли переоценить воспитательное значение таких общественных устройств, когда на вершине общества руководят и творят достойнейшие: не те, чье волевое начало гипертрофировано за счет других способностей души и чья сила заключается в неразборчивом отношении к средствам, но те, в ком гармонически развитая воля, разум, любвеобилие, чистота помыслов и глубокий жизненный опыт сочетаются с очевидными духовными дарами: те, кого мы называем праведниками. Совсем недавно мы видели тому пример: мы видели роковую годину Индии и великого духом Ганди. Мы видели потрясающее зрелище: человек, не обладавший никакой государственной властью, в подчинении которого не было ни одного солдата, даже ни одного личного слуги, не имевший крова над головой и ходивший в набедренной повязке, стал совестью, стал духовным и политическим вождем трех-

сот миллионов человек, и одного его тихого слова было достаточно, чтобы эти миллионы объединялись в общей бескровной борьбе за освобождение своей страны, а пролитие крови врага влекло за собой всеиндийский пост и траур. Нетрудно представить себе, как трагически исказился бы исторический путь индийского народа, если бы вместо этого подвижника в решающую минуту выдвинулся в качестве вождя человек односторонне-волевого типа, вроде Муссолини или Сталина, — так называемая «сильная личность», мастер демагогии и политической интриги, маскирующий свою сущность деспота тирадами о народном благе! Как блестяще играл бы он на низших инстинктах народа, на естественной ненависти к завоевателям, на зависти к богатым; какие волны огня и крови заходили бы по Индии, затопляя острова высокого этического сознания, тысячи лет укреплявшиеся и лелеемые лучшими сынами великого народа! И какая тирания воздвиглась бы в итоге над истерзанною страной, пользуясь склонностью к повиновению, созданною веками рабства!.. Ганди направил освободительный и созидательный энтузиазм нации по другому пути. Вот первый в новейшей истории пример той силы, которая постепенно заменит меч и кнут государственной власти. Эта сила — живое доверие народа к тому, кто доказал свою нравственную высоту; это — авторитет праведности.

Предвижу множество возражений. Одно из них таково: да, это было возможно в Индии, с ее неповторимыми особенностями, с четырехтысячелетним религиозным прошлым, с этическим уровнем ее народа. У других народов другое наследие, и опыт Индии ни на какую другую страну перенесен быть не может.

Верно, у каждого народа свое наследие. И наследие Индии привело к тому, что ее народ стал пионером на этой дороге. Но почти каждый народ видел у себя или рядом с собой диктатуры и тирании всевозможных окрасок, разнообразной идеологической маскировки, и каждый мог убедиться, в пучину каких катастроф увлекает страну слепая власть, не просветленная праведностью, не отвечающая даже требованиям среднего нравственного уровня. А ведь государственное водительство — это подвиг, и средний нравственный уровень для этого мал. Многие народы убедились и в этом, потому что там, где вместо диктаторов чередуются политические партии, там сменяются, точно в калейдоскопе, дипломаты и генералы, боссы и адвокаты, демагоги и дельцы, одни — своекорыстнее, другие — идейнее, но ни один не способен вдохнуть в жизнь новый, чистый и горячий дух, разре-

шить насущные всенародные проблемы. Ни одному из них никто не может доверять больше, чем самому себе, потому что ни один из них даже не задумывался о том, что такое праведность и духовность. Это — снующие тени, опавшие листья, подхваченные ветром истории. Если Роза Мира не выйдет вовремя на всечеловеческую арену, они будут развеяны огненным дыханием волевых и безжалостных диктатур; если же Роза Мира появится — они растворятся, растают под восходящим солнцем великой идеи, потому что сердце народа доверяет одному праведнику больше, чем сотне современных политиков.

Но еще могущественнее и светлее будет воздействие на народ и его судьбу, если три наивысших одаренности — праведность, дар религиозного вестничества и художественная гениальность совместятся в одном человеке.

Много, о, много проявлений религии относится целиком к ее минувшим стадиям. Одно из таких проявлений, по-видимому, — и власть над умами строго очерченных, аподиктически выраженных, не подлежащих развитию, статуарных догм. Опыт последних веков и рост личности привели к тому, что создание человека ощущает условность и тесноту любой догматики. Следовательно, сколь адогматичными ни были бы тезисы Розы Мира, сколь бы ни были они проникнуты духом религиозной динамики, но весьма многие затруднятся принять даже их. Зато множества и множества откликнутся на ее зов, коль скоро он будет обращен не столько к интеллекту, сколько к сердцу, звуча в гениальных творениях слова, музыки, театра, архитектуры. Образы искусства емче и многоаспектнее, чем афоризмы теософем или философские рассуждения. Они оставляют больше свободы воображению, они предоставляют каждому толковать учение так, как это органичнее и понятнее именно для его индивидуальности. Откровение льется по многим руслам, и искусство — если и не самое чистое, то самое широкое из них. Поэтому все виды искусства и прекрасный культ оденут Розу Мира звучащими и сияющими покровами. И поэтому же во главе Розы Мира естественнее всего стоять тому, кто совместил в себе три величайших дара: дар религиозного вестничества, дар праведности и дар художественной гениальности.

Может быть, такой человек не придет или придет не скоро. Возможно, что Розу Мира будет возглавлять не он, а коллектив достойнейших. Но если бы Провидение направило такую великую душу в наш век — а Оно ее уже направило — и демонические

силы не сумели бы устранить ее, — это было бы для всей земли величайшим счастьем. Потому что более могучего и светлого воздействия на человечество, чем воздействие гениального художника слова, ставшего духовидцем и праведником и возведенного на высоту всемирного руководства общественными и культурными преобразованиями, не может оказать никто. Именно такому человеку и только такому может быть вверен необычайный и небывалый в истории труд: этический контроль над всеми государствами Федерации и водительство народами на пути преобразования этих государств во всечеловеческое братство.

О, мы, русские, жестоко поплатились за безусловное доверие, оказанное сильному человеку, принятому многими из нас за благодетеля человечества. Не повторим этой ошибки! Есть безусловные признаки, отличающие человека, достойного подобной миссии, от злого гения народа. Последний сумрачен; первый — весел духовным веселием. Один укрепляет свою власть казнями и карами; другой не станет домогаться власти ни в один из дней своей жизни, а когда примет ее — не прольет ничьей крови. Один насаждает по всей земле, ему подвластной, культ своей личности; другому отвратительно и смешно его прославление. Один — недоступен, другой — открыт всем. Один обуреваем неистовой жадной жизни и власти и прячется от воображаемых опасностей за непроницаемыми стенами; другой — свободен от жизненных искушений, а перед лицом опасности спокоен, потому что совесть его чиста, а вера непоколебима. Это — два антипода, посланцы двух непримиримых начал.

Конечно, в Верховном Соборе такой избранник был бы лишь первым среди равных. Он опирался бы во всем на сотрудничество множества, и этим множеством была бы контролируема его собственная деятельность. На свой необычайный пост он мог бы прийти только сквозь строгий искус. Такому сану не может соответствовать ни молодость, ни даже зрелый возраст; лишь старость. Искушения и борьба страстей должны быть давно изжиты. Что до самого избрания, то оно, мне кажется, могло бы быть осуществлено лишь через тот или иной вид плебисцита. Да и в годы правления верховного наставника Собор следил бы за его действиями. Уклонение его от пути влекло бы передачу власти достойнейшему. Вообще все связанные с этим вопросы могли бы быть тщательно продуманы, опасности предусмотрены, решения внимательно взвешены и впоследствии усовершенствованы. Но пока верховный наставник будет следовать неукос-

нительно по предназначенной стезе, он — мистическая связь между живущим человечеством и миром горним, проявитель Провиденциальной воли, совершенствователь миллиардов и защитник душ. В руках такого человека не страшно соединить полноту духовной и гражданской власти.

Скажут: подобные люди появляются по одному в пятьсот лет. А я скажу больше: личности такого масштаба и обладающей при этом суммой именно таких свойств, раньше не могло быть никогда. Эйнштейн не мог бы появиться среди маори XIX века; Достоевского — такого, каким мы его знаем, — напрасно было бы надеяться найти среди подданных Тутанхамона или Теодориха. Тогда он обладал бы другой суммой свойств, а многие из них не имел бы возможности проявить в жизни. Такой человек, о каком я говорю, даже в недалекую от нас эпоху не мог бы осуществить врученные ему дары, и современники остались бы в полном неведении относительно его истинных масштабов и потенциалов. Нужные условия, по-видимому, уже намечаются наступающей ныне эпохой; Роза же Мира досоздаст их так, чтобы атмосфера общественная и культурная обеспечила верховному наставнику цепь преемников, достойных этого венца.

Могут сказать также: даже всех перечисленных дарований мало для такой необычайной деятельности; надо обладать широким, трезвым и практичным государственным умом. Да, еще бы. Такому деятелю придется соприкасаться с тысячами разнообразных проблем; потребуются и знания, и опыт, и эрудиция — экономическая, финансовая, юридическая, даже техническая. Но век Аристотелей давно миновал; умы энциклопедического охвата немислимы в наше время. И деятельность того, о ком я говорю, столь же немислима в отрыве от соборного разума, от Верховного Собора. В ней будут участвовать самые глубокие умы, люди, умудренные в превратностях государственной жизни, специалисты всех отраслей знания. Не энциклопедическая эрудиция и не приземистый хозяйственный смысл потребуются от верховного наставника, но мудрость. Мудрость, которая понимает людей с первого взгляда, которая в самых сложных вопросах сразу находит их существо и которая ни на миг не делается глуха к голосу совести. Верховный наставник должен стоять на такой моральной высоте, чтобы любовь и доверие к нему заменяли бы другие методы властвования. Принуждение, насилие над чужою волей мучительны для него; он пользуется ими лишь в редчайших случаях.

И все же это лишь один из вариантов возможного, хотя, на мой личный взгляд, наиболее желательный. Вполне представимо и другое: такое руководство Розой Мира, такое соотношение его с законодательными учреждениями и с правительством Федерации, при котором принцип коллективности не будет ограничен ни в чем и никем. Время разрабатывать конституцию будущего — в далеком будущем, и не нам, а счастливым потомкам придется выбирать из многих вариантов один.

Но уж не теократия ли это? — Я не люблю слово «теократия». Теократия есть боговластие; применять его к каким бы то ни было общественным и государственным устройствам абсурдно — с точки зрения атеиста, кощунственно — с точки зрения верующего. Никакой теократии история не знает и знать не может. Не теократией, а иерократией, властью духовенства, следует называть церковное государство пап или далай-лам. А тот строй, о котором я говорю, прямо противоположен всякой иерократии: не церковь растворяется в государстве, поглотившем ее и от ее имени господствующем, но и весь конгломерат государств, и сонм церквей постепенно растворяются во всечеловеческом братстве, в интеррелигиозной церкви. И не высшие иерархи церкви занимают кресла в высших органах, законодательных, исполнительных и контролирующих, но лучшие представители всех народов, всех конфессий, всех общественных слоев, всех специальностей.

Не иерократия, не монархия, не олигархия, не республика: нечто новое, качественно отличное от всего, до сих пор бывшего. Это — всемирное народоустройство, стремящееся к освящению и просветлению всей жизни мира. Я не знаю, как его назовут тогда, но дело не в названии, а в сути. Суть же его — труд во имя одухотворения человека, одухотворения человечества, одухотворения природы.

Глава 2

ОТНОШЕНИЕ К КУЛЬТУРЕ

Мало-помалу новое отношение возникает ко всему: существование Розы Мира не имело бы и тени смысла, если бы она лишь повторяла то, что было сказано раньше. Новое отношение к себе, новое осмысление вызывается буквально всеми явлениями, от великих до малых: процессом космическим и процессом истори-

ческим, мировыми законами и связью между разноматериальными мирами, человеческими отношениями и путями развития личности, государствами и религиями, животным царством и стихиями — словом, всем тем, что мы объединяем в понятии «культура» и всем, что объединяем в понятии «природа». Новое отношение возникает ко всему, но это не значит, что всякое старое отношение обесценивается или опорочивается: во многих случаях лишь указывается такой угол зрения, под которым различные отношения прошлого могут перестать контрастировать друг друга, начинают друг друга дополнять и должны читаться как различные ряды аспектов одной и той же или многих реальностей. Это нередко применяется, например, при рассмотрении старых религий и реальностей, за ними стоящих.

В сущности, этому новому отношению к вещам посвящена вся книга: подобная проблематика чересчур обширна и сложна, чтобы быть хотя бы бегло очерченной в одной главе. Данная глава «Отношение к культуре», следующая — «Отношение к религиям», но не следует ждать от них развернутого изложения этих тем. Новым осмыслением различных культурных областей, различных исторических явлений, различных религиозных систем, а также различных царств природы насыщены все двенадцать книг этого труда. Первые же главы равноценны лишь некоему введению. Они содержат конспективное изложение некоторых основных принципов, и только.

Ведущей областью культуры в наш век является наука. Научный метод познания претендует на гегемонию; поэтому настоящая глава начинается с характеристики отношения Розы Мира именно к научному методу. Приходится сказать сразу и без обиняков: сколько иллюзий ни создавали бы на этот счет энтузиасты научного метода, но ни единственным методом познания, ни единственным методом овладения материей он никогда не был, не будет и не может быть. Не говоря уже о методе художественном, с которым научный метод высокомерно и неохотно делит теперь свое первенствующее положение, следует напомнить, что давно уже заложены основы такой методикой познания и овладения материальностью, усвоение которой неразрывно связано с духовным самосовершенствованием человека, с просветлением его этического облика. Впереди брезжит даже возможность таких исторических стадий, когда эта методика придет к некоторому первенствованию. Я подразумеваю не столько дискредитированные вследствие ряда недоразумений понятия

магии или оккультизма, сколько понятие духовного делания. Различные системы и школы этого рода имеются во всех высоко развитых религиях. Разрабатывая веками практические приемы воздействия воли на человеческий организм и на внешнюю материю и подводя человека к этому лишь после длительной нравственной подготовки и многостороннего искусства, они поднимали и поднимают сотни, может быть, даже тысячи людей, до того, что в просторечии именуется чудотворчеством. Эту методику, крайне трудоемкую и вызывающую жгучую ненависть современных филистеров, отличает один принцип, науке чуждый: принцип совершенствования и трансформации собственного существа, вследствие чего физический и эфирный покровы личности становятся более податливыми, эластичными, более послушными орудиями воли, чем у нас. Этот путь приводит к таким легендарным якобы явлениям, как телесное прохождение сквозь предметы трехмерного мира, движение по воздуху, хождение по воде, мгновенное преодоление огромных расстояний, излечение неизлечимых и слепорожденных и, наконец, как наивысшее, чрезвычайно редкое достижение — воскрешение мертвых. Здесь налицо овладение законами нашей материальности и подчинение низших из них высшим, нам еще неизвестным. И если в XX столетии большинство из нас успеет прожить всю жизнь, так и не столкнувшись с бесспорными случаями подобных явлений, то из этого вытекает не то, что подобных явлений не бывает, и не то, что они принципиально невозможны, но лишь то, что условия безрелигиозной эры — культурные, социальные и психологические — до такой степени затрудняют изучение и усвоение этой методики (особенно на Западе и еще больше в странах социалистического лагеря), что сводят количество подобных случаев к немногим единицам. Некоторые воистину роковые для человечества события, имевшие место около двух тысяч лет назад — о них речь будет впоследствии, — повинны в том, что вовлечение не единиц, а множеств человеческих на этот путь познания и овладение материей оказалось невозможным. В дальнейшем, психологический климат безрелигиозной эры все более и более тормозил движение по этому пути. Ныне освоение этой методики затруднено до предела, а в некоторых странах практически невозможно совсем. Но нет оснований думать, что таким медленным и трудоемким этот путь останется навсегда: арелигиозная эра — не бесконечна, мы живем в ее конце. Трудно представить себе что-нибудь столь же

тяжеловесное, несовершенное, грубое и жалкое, чем достижения современной техники в сравнении с достижениями той методики, о которой я говорю. Если бы на ее развитие и усвоение были бы брошены такие средства и такие неисчислимы людские резервы, какие ныне поглощены развитием методики научной, — панорама человеческой жизни, нашего творчества, знаний, общественного устройства и нравственного облика изменилась бы в самых основах. Психологический климат эпохи Розы Мира создаст для развития именно этой методики такие благоприятные условия, как никогда. Но это — дело будущего, и притом не слишком близкого. А пока это не стало настоящим, нам предстоит пользоваться в основном иной методикой, гораздо менее совершенной, не ведущей далеко, но повсеместно господствующей теперь.

Отсюда и общее отношение Розы Мира к науке и технике на текущем историческом этапе. Кропотливо накапливая факты, выводя из них кое-какие закономерности, не понимая ни природы их, ни направленности, но овладевая ими механически и при этом будучи не в силах предугадать, к каким изобретениям и социальным потрясениям приведут ее открытия, — наука давно доступна всем, независимо от морального облика каждого. Результаты — у нас перед глазами и у нас над головой. Главный из них тот, что ни один человек на земле не гарантирован, что в любую минуту на него и на его сограждан не будет сброшена высокоинтеллектуальными умами водородная бомба или другое, еще более ошеломляющее достижение науки. Естественно поэтому, что одним из первых мероприятий Розы Мира после ее прихода к контролю над деятельностью государств будет создание Верховного ученого совета — то есть такой коллегии, которая выделится внутренними кругами самой Розы Мира. Состоящий из лиц, сочетающих высокую научную авторитетность с высоким нравственным обликом, Совет возьмет под свой контроль всю научную и техническую деятельность, направив свою работу по двум путям: планирующему и оберегающему.

Все, что относится к обереганию жизненных интересов человечества, представляется в общем достаточно ясным, во всяком случае в своих принципах, и вряд ли на этом нужно останавливаться здесь. Что же касается проблем, связанных с обереганием интересов животного и растительного царств, то они будут освещены в соответствующих разделах книги, посвященных животному миру и мирам стихий. Потому что это — едва ли не

единственная область, в которой воззрения Розы Мира и взгляды большинства современных ученых не могут быть примирены. Впрочем, это противоречие затрагивает не какие-либо выводы науки, а лишь некоторые из ее частных практических методов, которые не только в глазах Розы Мира, но и в глазах почти любого религиозно-нравственного учения и даже почти любого гуманного человека несовместимы с элементарными требованиями добра.

Кроме этих чисто методологических противоречий, между Розой Мира и наукой никаких точек столкновения нет и не может быть. Им негде сталкиваться. Они *о разном*. Не случайно, вероятно, то обстоятельство, что большинству крупных ученых XX века их научная эрудированность не мешала обладать личной религиозностью, не мешала им разделять и даже создавать яркие спиритуалистические системы философии. Эйнштейн и Планк, Павлов и Лемэтр, Эддингтон и Милн, каковы бы ни были области их научных изысканий, оставались каждый по-своему глубоко верующими людьми. Разумеется, я не принимаю при этом во внимание русских ученых советского периода, некоторые из которых вынуждены были заявлять о своем материализме не из философских соображений, а в силу совершенно иных причин, для всякого понятных. Оставим же в покое философию и политику: в чисто научных областях Роза Мира не утверждает ничего из того, в чем наука имеет право на отрицание. Налицо другое: о тех реальностях, которые утверждает Роза Мира, наука пока молчит. Но и это — явление недолговременное. Что же касается социальных, культурных, этических задач, стремиться решить которые будет Роза Мира, то невозможно представить, чтобы они встретили со стороны научных авторитетов какие-либо возражения по существу.

Думается, что уже и не самая идея планирования науки будет тогда предметом дискуссии, а границы того, что охватывается планированием, и его практика. Не будет лишено, вероятно, некоторого интереса специальное изучение практики планирования и координации научных работ в некоторых государствах середины XX столетия. Но воспользоваться можно будет лишь отдельными их деталями, хотя бы уже потому, что Федерация будет состоять из многих государств, больших и малых, только что объединившихся, стоящих на разных ступенях экономического развития, формировавшихся в лоне различных культур и обладающих различными социально-политическими укладами.

Некоторые из этих укладов, отличающиеся большей социализацией экономических отношений, будут легче вовлекаемы в общий неизбежный процесс всемирной социализации; другие, привычные к анархии производства, втянутся в него постепенно. Все это, равно как и многообразие культурных типов, будет создавать в первый период чрезвычайную пестроту мировой экономики и воздействующих друг на друга культурных укладов. Долго еще будут давать себя знать и застарелые национальные антагонизмы. Не сразу удастся уравновесить и согласовать нужды отдельных стран и отдельных слоев населения, заинтересованных, например, в первоочередном развитии таких-то и таких-то отраслей промышленности там-то и там-то или в сбыте своей продукции куда-нибудь. От тех, кто будет возглавлять Ученый совет и самое Розу Мира, потребуются для справедливого решения этих проблем некое новое психологическое качество: преодоленность в собственном существе господства местных, столь пока еще естественных, культурно-расовых привязанностей, полное национальное беспристрастие. Сколько усилий, какая авторитетность и даже самопожертвование потребуются хотя бы для того, чтобы ослабить застарелые антагонизмы — англо-арабский, например, русско-польский или армяно-турецкий! Каким поведением заслужат немцы, англичане, русские или американцы забвение той вражды, которую они возбудили к себе во стольких нациях? Какие воспитательные средства потребуются для того, чтобы разрушить комплекс ущемленного самолюбия, мешающий многим малым и средним нациям дружественно относиться к своим соседям и перерастающий в агрессивные мечты о достижении собственного величия за счет величия других? Но это — только одна сторона задачи. Многим западным нациям придется вытравить в себе малейшие следы старинного чувства превосходства своего перед другими. Русскому придется понять, что его страна — не венец создания и уж во всяком случае не лучше многих других. Англичанин вынужден будет совершить титаническую внутреннюю работу, чтобы отрешиться от невольного предпочтения интересов жителей Британских островов интересам жителей Индонезии или Танганьики. От француза потребуются умение принимать к сердцу интересы Парагвая или Таиланда так же горячо, как и свои собственные. Китаец или араб освободят свое сердце и ум от вскормленного столькими веками когда-то справедливого, а теперь устаревшего недоверия к европейцам и научатся уделять потребностям Бельгии или Греции

внимания не меньше, чем потребностям Жэхэ или Судана. Жителям латиноамериканских республик придется отучиться от привычки заботиться и плакаться только о себе и принять участие в распределении мировых благ с учетом нужд Афганистана, Камбоджи и даже Якутии. А гражданам Соединенных Штатов надлежит вспомнить, что они почитаются христианами и что христианство несовместимо со звериной ненавистью к какой бы то ни было расе, хотя бы и черной. Трудно, трудно это, — ясно, что ужасно трудно, но избавление от войн и тираний — только через эту психологическую самопеределку. И уж конечно, надеяться на участие в работе всемирных планирующих органов не может ни один человек, не завершивший над собою подобной операции. Придется учиться даже национальному самопожертвованию: о, не своею кровью, разумеется, не жизнью своих сынов, а только долларами. Ибо наиболее богатым странам предстоит в какой-то мере поделиться своими ресурсами с народами Востока и Юга, и поделиться притом бескорыстно, безо всяких надежд сделать из этой помощи удачный бизнес. Короче говоря, каждый, причастный к руководству Розы Мира, должен уметь чувствовать себя прежде всего — членом космического целого, потом — членом человечества, и только уже после всего этого — членом нации. А не наоборот, как учили и учат нас доселе.

Потому что общая цель Розы Мира, точнее — того гигантского духовного процесса, который начался тысячелетия назад и лишь этапом которого является Роза Мира, — так вот, цель этого процесса — просветление Шаданакара, а ближайшая эпохальная задача — чтобы достойный человека материальный достаток, простое житейское благополучие и элементарно нравственные отношения между людьми водворились везде, не оставя вне своих пределов ни одного человека. Тезис о том, что всякому человеку без исключения должны быть обеспечены занятия, отдых, досуг, спокойная старость, культурное жилище, пользование всеми демократическими свободами, удовлетворение основных материальных и духовных потребностей, начнет стремительно воплощаться в жизнь.

Не скоро, лишь в последних главах смогу я осветить те конкретные мероприятия, ту систему последовательных реформ, благодаря которым, как мне представляется, эти принципы могут облечься плотью и кровью. Пока — речь только о принципах. Чтобы тот, в ком эти принципы не возбуждают сочувствия, не тратил времени и сил на дальнейшее чтение, а сочувствующий

понял внутренний дух Розы Мира прежде, чем перейти к размышлению о путях претворения этих идеалов в жизнь.

Таков принцип отношения Розы Мира к науке и технике, насколько можно дать понять этот принцип, не забираясь пока в метаисторическую и трансфизическую глубину. И такова должна быть роль научного метода в ряду ближайших эпох.

Пройдет несколько десятилетий. Прогрессирующий рост производительных сил достигнет того уровня, который мы будем вправе назвать всеобщим достатком. Условия жизни, какими пользуются теперь граждане передовых стран, водворятся в самых диких уголках земного шара. Обращение на мирные цели тех невероятных сумм, которые сейчас тратятся на вооружение, сообщит экономическому прогрессу почти непредставимые темпы. Период всеобщего начального обучения будет во всех странах преодолен, вероятно, еще раньше; в дальнейшем и среднее всеобщее образование начнет представляться уже недостаточным. Очертания интеллигенции совпадут с очертаниями человечества. Развитие новых и новых средств связи, их общедоступность, их комфорт фактически уничтожат проблему международного и межкультурного пространства. Рабочий день, сокращаясь все более, высвободит новые резервы времени. Физиология разработает аппаратуру, помогающую человеческому мозгу быстро и прочно запоминать воспринимаемые им сведения. Досуг станет возрастать. И те вопросы, которые волнуют сейчас большинство, — интересы хозяйства, организации производства, улучшения продукции, промышленной техники, дальнейшего совершенствования жизненных удобств, — потеряют свою остроту. Весьма правдоподобно даже, что тем поколениям будет непонятно и странно, как могли их предшественники увлекаться и кипятиваться при решении столь скучных и плоских проблем. Запасы сил обратятся на создание ценностей высшего порядка, ибо материальная основа жизни не будет подвержена никаким колебаниям, всеобъемлюща и совершенно прочна.

Проблемы техники и экономики перестанут привлекать к себе преимущественное внимание. Они будут решаться в соответствующих коллективах, а широкой гласности их будут предавать не больше, чем теперь предают вопросы общественной кухни или водопровода. И человеческая одаренность обратится на другое: на то, что будет диктоваться жаждою знания, любовью ко всему живущему, потребностью в высших формах творчества и влюбленностью в красоту.

Жажда знания, когда-то толкавшая исследователей в плавание по неведомым морям, в блуждания по нехоженным материкам, бросит их сперва — возможно, еще до прихода Розы Мира — в космонавтику. Но чужие планеты негостеприимны; после нескольких разведывательных экспедиций эти полеты прекратятся. И сама жажда знания начнет менять свою направленность. Будут разработаны системы воспитания и раскрытия в человеческом существе потенциально заложенных в нем органов духовного зрения, духовного слуха, глубинной памяти, способности к произвольному отделению внутренних, иноматериальных структур человека от его физического тела. Начнутся странствия по иноматериальным мирам, по открывающимся слоям Шаданакара. То будет век Магелланов планетарного космоса, Колумбов духа.

Какая же система взглядов на личность, на ее ценность, на ее права и долженствование, на пути ее совершенствования будет способствовать водворению нового психологического климата, ускорит наступление этого золотого века?

Именно в том факте, что личность содержит единоприродные с Божеством способности творчества и любви, заключена ее абсолютная ценность. Относительная же ее ценность зависит от стадии ее восходящего пути, от суммы усилий — ее собственных и Провиденциальных, — затраченных на достижение ею этой стадии, и от того, в какой степени она эти способности богосотворчества и любви выявляет в жизни.

Земной отрезок космического пути восходящей монады является собой такой этап, на котором ее способности к творчеству и любви уже могут и должны распространяться на окружающую ее природную и искусственную среду, ее совершенствуя, — то есть преодолевая в этой среде тенденцию к изолированному самоутверждению частей и частиц за счет других. Зло заключается именно в такой тенденции, как бы она ни выражалась. Формами и масштабами оно разнообразно почти до бесконечности, но основа всегда одна и та же: стремление к утверждению себя за счет остальных и всего остального.

Старинные религии усматривали мерилу относительной ценности личности в степени выполнения ею предписаний данного религиозно-нравственного кодекса. Религии аскетической окраски наивысшей ступенью полагали святость, понимая под нею чистейший образец иноческого служения либо мученичество за веру. При этом любовь отступала на второй план. Иноче-

ский или мученический подвиг совершался не в силу любви к людям и ко всему живому, но в силу жажды воссоединения с Богом и избавления от посмертных мук. Конечно, я имею здесь в виду доминирующее направление, преобладающее настроение, а не образы таких изумительных отдельных деятелей, апостолов любви, как св. Франциск, Рамаджуна или Миларайба. Как это ни чудовищно для нас, но даже вечные мучения грешников в аду не вызывали в большинстве адептов этих религий стремления к тому, чтобы просветить мировые законы, в том числе и закон возмездия или кармы. Вечное возмездие за временное нарушение их казалось справедливым актом Божества или во всяком случае (как в брахманизме) непрекаемым и абсолютно непреодолимым законом. Будда как свеча горел огнем сострадания, но и он учил только тому, как вырваться из круга железных законов мира, а не тому, как просветить и преобразить их. Что касается творчества, то его врожденность монаде не сознавалась совсем, даже понятия такого не было, а конкретным видам творчества, доступным человеку, не придавалось значения, исключая религиозное творчество в узком смысле: духовное делание, богословие, проповедничество, храмовое строительство, культ.

Другие религии, не склонные к аскетизму, как ислам и протестантизм, видоизменили этот идеал, расширили его и, вместе с тем, снизили, сделав его более доступным, более народным, вплоть до исполнения нескольких заповедей по отношению к Богу, к государству, к ближайшему окружению, к семье и, наконец, к самому себе. Приходится повторить, что ни та, ни другая группа религий задач преобразования общества, и тем более природы, ни перед кем не ставила. Сообразно этому представление и о должностовании личности оставалось ущербным и узким. Естественно, что подобные задачи, но в крайне упрощенном виде, были поставлены наконец учениями безрелигиозными. Провозглашался сниженный и противоречивый этический идеал, механически сочетавший некоторые прогрессивные черты с такими, которые шли вразрез с этическим минимумом, давно, казалось бы, беспорным. Вспомнили старую формулу «цель оправдывает средства» и, опасаясь провозгласить ее с честной откровенностью, стали пользоваться ею практически. При характеристиках и оценках исторических явлений их моральное качество игнорировалось полностью; вердикты выносились лишь исходя из учета общей прогрессивной или реакционной направленности данного явления. Никого не смущало, что это

приводит к оправданию кровавой деятельности многих деспотов прошлого и даже таких вопиющих массовых побоищ, как якобинский террор или деятельность опричнины. Многие старые достижения социального прогресса, как свобода слова, печати или религиозной пропаганды, были отброшены. Поколения, воспитанные в подобной атмосфере, постепенно теряли самую потребность в этих свободах — симптом, говорящий выразительнее любых тирад о потрясающем духовном регрессе общества. Таким образом, при приближении к идеалу в том виде, в каком он предстал в реальности, обесценивалось и то положительное, что он заключал. Ибо впереди рисовалось лишь царство материальной сытости, купленной ценой отказа от духовной свободы, многомиллионными гекатомбами человеческих жизней и сбрасыванием в низшие слои Шаданакара миллиардов душ, отдавших за чечевичную похлебку свое божественное первородство.

Надо надеяться, что страшный урок не пройдет даром.

Учение Розы Мира указывает на абсолютную *ценность* личности, на ее божественное первородство: право на освобождение от гнета бедности, от гнета агрессивных обществ, на благополучие, на все виды свободного творчества и на обнародование этого творчества, на религиозные искания, на красоту. Право человека на обеспеченное существование и пользование благами цивилизации есть такое врожденное ему право, которое само по себе не требует отказа ни от свободы, ни от духовности. Уверять, будто бы здесь заключена какая-то роковая дилемма, что ради достижения всего только естественных, само собой разумеющихся благ надо жертвовать личной духовной и социальной свободой, — это значит вводить людей в обман.

Учение укажет и на *долженствование* личности: на последовательное расширение сферы того, что охватывается ее любовью; на возрастание, умножение и просветление того, что создается ее творчеством. Творчество, таким образом, оказывается и правом, и долженствованием. Я до сих пор не могу понять, каким образом эта воистину божественная способность человека не встретила должного отношения к себе ни в одной из старинных религий, кроме некоторых форм многобожия, в особенности эллинского. Кажется, только в Элладе умели боготворить не только произведения искусства, но самую творческую способность, именно творческую, а не производительную, как в других формах политеизма, и даже венчать апофеозами великих деятелей

искусства. Печально и странно, что после угасания Эллады творческий дар перестал привлекать к себе взор религий, не осмыслился больше ни онтологически, ни метафизически, ни мистически. Под влиянием односторонне понятой семитической идеи о том, что после шести дней творения наступило упокоение Божественного творческого духа, даже вопрос о дальнейшем творчестве Самого Бога богословская мысль предпочитала обходить стороной, и речение Божества, запечатленное в Откровении Иоанна — «Се, творю все новое», — осталось единичным взлетом, единичным прозрением. К человеческому же творчеству установилось и вовсе подозрительное отношение, как будто гордыня, в которую может впасть человек-творец, более опасна и губительна, чем творческое бесплодие. К сожалению, не менее прискорбная точка зрения на творчество человека установилась и в религиях индийского корня.

Последние века западных культур, столь богатые проявлениями гениальности во всех областях искусства, в науке и в философии, научили нас многому. Научили они нас и благоговейному отношению к человеческому творчеству, и уважению к человеческому труду. Но безрелигиозный дух этих веков способствовал в этом вопросе как раз тому, чего боялись старинные религии: человеку-творцу сделалась свойственной гордыня своим творческим даром, как если бы самый этот дар он создал в себе сам. Впрочем, эта самость свивала себе гнездо не столько в душах подлинных гениев, и тем более духовных вестников, сколько в ряду второстепенных деятелей наук и искусств. Более подробному рассмотрению этих проблем под углом учения Розы Мира будет в настоящей книге посвящен ряд специальных глав.

Во всяком случае, творчество, как и любовь, не есть исключительный дар, ведомый лишь избранникам. Избранникам ведомы праведность и святость, героизм и мудрость, гениальность и талант. Но это — лишь раскрытие потенций, заложенных в каждой душе. Пучины любви, неиссякаемые родники творчества кипят за порогом сознания каждого из нас. Религия итога будет стремиться разрушить эту преграду, дать пробиться живым водам сюда, в жизнь. В поколениях, ею воспитанных, раскроется творческое отношение ко всему, и самый труд станет не обузой, но проявлением неутолимой жажды создавать новое, создавать лучшее, творить свое. Все последователи Розы Мира будут наслаждаться творческим трудом, обучая этой радости детей и

юношество. Творить во всем: в слове и в градостроительстве, в точных науках и в садоводстве, в украшении жизни и в ее умягчении, в богослужении и в искусстве мистериалов, в любви мужчины и женщины, в пестовании детей, в развитии человеческого тела и в танце, в просветлении природы и в игре.

Потому что всякое творчество, кроме демонического, совершаемого во имя свое и для себя, есть богосотворчество: им человек поднимает себя над собой, обóж и в а я и собственное сердце, и сердца других.

В смысле личного духовного совершенствования большинство людей движется по медленному и широкому пути. Этот путь проходит через браки и деторождения, сквозь причастность различным формам деятельности, сквозь полноту и пестроту впечатлений жизни, сквозь ее радости и наслаждения. Но есть и Узкий Путь: он надлежит тем, кто носит в своей душе особый дар, требующий жесткого самоограничения: дар святости. Несправедливы религиозные учения, утверждающие Узкий Путь как единственно правильный или наивысший. И столь же неправы общественные или религиозные системы, отрицающие его во все и воздвигающие препятствия перед теми, кто чувствует себя призванным именно к такому пути. Вряд ли в эру Розы Мира монастыри будут многочисленными; но они — будут, чтобы всякий, кого духовная жажда гонит на Узкий Путь, мог бы работать над раскрытием в себе таких способностей души, которые нуждаются в многолетнем труде среди тишины и уединения. Если на Узкий Путь человек встает из страха перед возмездием или из-за мечты о личном, себялюбивом, замкнутом общении с Божеством, его победы не имеют цены. Никакого Божества, дарующего в награду своим верным рабам блаженное созерцание его величия, — нет. Созерцание высших сфер есть *выход личности из себя* и приобщение Единому, объемлющему все монады и зиждущему весь мир. Поэтому последователя Розы Мира может принудить стать на Узкий Путь не духовный эгоизм, не жажда личного спасения при холодном безразличии к другим, но понимание, что на Узком Пути раскрываются такие дары, которыми праведник будет помогать миру из уединения более действенно, чем сотни живущих в миру, и которые в посмертии становятся такою силой, что перед ней преклоняются даже могучие демонические иерархии.

Нет никакой надобности в страшных клятвах, сопровождающих постриг. Нет основания для осуждения и поношения того,

кто по истечении ряда лет ушел с пути. Вступающий будет давать сперва только временный обет: на три года, на пять, на семь. Лишь после успешного завершения таких этапов он, если хочет, получит право принесения обета на более длительный срок; и все же сознание безвозвратности, подозрение непоправимой ошибки не будет томить и давить его, порождая отчаяние и бурные вспышки неизжитого: он будет знать, что по истечении срока волен вернуться в мир, волен избрать любой образ жизни, любой труд, волен иметь семью, детей, не заслужив этим ни от кого ни порицания, ни пренебрежения.

Я постарался предвосхитить отношение Розы Мира к научному и к вненаучным методам познания, к личности, к ее правам и долженствованию, к человеческому творчеству и труду, теперь — к двум основным видам духовного пути: Широкому и Узкому. Чтобы восполнить представление об ее отношении к культуре, следовало бы остановиться на ее воззрениях на искусство — в широком смысле слова. Но этот вопрос столь многозначен и важен, а лично мне столь близок, что я решится посвятить ему серию глав в одной из дальнейших частей книги. Поэтому, прежде чем перейти к вопросу об отношении Розы Мира к другим религиям, скажу об искусствах приближающейся эры лишь несколько беглых слов.

Какими же чертами может отличаться искусство, которое создадут люди, причастные духу Розы Мира, в ближайшие эпохи, когда солнце золотого века только начнет еще озарять облака над горизонтом?

Было бы наивно пытаться предугадать или очертить многообразие художественных направлений, жанров, школ, стилистических приемов, которыми засверкает эта сфера культуры к концу текущего столетия. Но будет, мне кажется, определяться некий преобладающий стиль, не исчерпывающий, конечно, всех течений искусства (в условиях максимальной свободы это невозможно, да и не нужно по той же причине), но призванный стать в искусстве и литературе последней трети века некоторой, как теперь говорят, магистралью. В этом стиле найдет свое выражение присущее Розе Мира восприятие вещей: восприятие *сквозящее*, различающее через слой физической действительности другие, иноматериальные или духовные слои. Такое мировосприятие будет далеко от нарочитого оптимизма, боящегося нарушить собственную безмятежность вниманием к темным и трагическим сторонам бытия. Творцы этого искусства не станут избегать

созерцания горестной и страшной изнанки мира. Они сочли бы за малодушие жажду забыть о кровавом пути истории, о реальности грозных, инфрафизических слоев Шаданакара, об их беспощадных законах, удерживающих в узах нечеловеческих мук неисчислимы сонмища несчастных, и о тех наипугливших срывах общечеловеческого духа, которые подготавливаются силами Противобога и осуществляются в истории почти неизбежно, когда исчерпает свое поступательное движение золотой век. Но высокая степень осознания не воспрепятствует их любви к миру, к земле, не уменьшит их радостей, порождаемых природой, культурой, творчеством, общественным служением, любовью, дружбой, — напротив! Разве сознание скрытых опасностей, грозящих тому, кого любишь, ослабляет жар любви? — Будут чудесные создания еще небывалой полноты жизнеутверждения, чистоты и веселия. В русле всех искусств — тех, которые уже есть, и тех, которые возникнут, — появятся искрящиеся, как водяные брызги в солнечных лучах, произведения творцов будущего о любви, более многосторонней, чем наша, о молодости, о радостях домашнего очага и общественной деятельности, о расширении человеческого сознания, о раздвигании границ восприятия, о стихиялях, подружившихся с людьми, о вседневной близости невидимых еще теперь друзей нашего сердца, да и мало ли о чем, что будет волновать людей тех эпох и чего мы не в состоянии себе представить.

Мне кажется, такое искусство, мужественное своим бесстрашием и женственное своим любвеобилием, мудрое сочетание радости и нежности к людям и к миру с зорким познанием его темных глубин, можно было бы назвать сквозящим реализмом или метареализмом. И следует ли говорить, что не непременно нужно произведению искусства быть образцом сквозящего реализма, чтобы люди, причастные духу Розы Мира, сумели ему радоваться и восхищаться? Они будут радоваться всему, что отмечено талантом и хотя бы одной из этих особенностей: чувством прекрасного, широтой охвата, глубиной замысла, зоркостью глаза, чистотой сердца, веселием души.

Наступит время, когда этический и эстетический уровень общества и самих деятелей искусств станет таков, что отпадет всякая надобность в каких-либо ограничениях, и свобода искусств, литературы, философии и науки станет полной. Но между тем моментом, когда Роза Мира примет контроль над государствами, и эпохой этого идеального уровня пройдет не-

сколько десятилетий. Не из мудрости, а из юношеской незрелости могла бы возникнуть мысль, будто общество уже достигло тех высот развития, когда абсолютная свобода не может породить роковых, непоправимых злоупотреблений. Вначале придется вручить местным филиалам Всемирного художественного совета, кроме других, более отрядных функций, также и этот единственный контроль, через который будет проходить художественное произведение перед его обнародованием. Это будет — если не обидится читатель на шутку — лебединой песнью цензуры. Сначала, когда национальные антагонизмы и расовые предрассудки еще не будут изжиты, а агрессивные организации будут еще играть на этих предрассудках, придется налагать запрет на любую пропаганду вражды между теми или иными группами населения. Позднее контроль еще будет сохраняться над книгами и учебными пособиями, популяризирующими научные и философские идеи, в том единственном, однако, направлении, чтобы они не оказались неполноценными, легковесными или искажающими объективные факты, — не вводили бы неквалифицированного читателя в заблуждение. Над художественными произведениями еще удержится, мне кажется, контроль, требующий от них некоторой минимальной суммы художественных достоинств, оберегающий книжный рынок от наводнения безвкусицей, эстетически безграмотной макулатурой. И, наконец, дольше всего удержится, вероятно, безусловный запрет, наложенный на порнографию.

С отменой же каждого из этих ограничений его будет заменять другое мероприятие: после выхода в свет недоброкачественного произведения Всемирный художественный совет или всемирный ученый совет опубликует свое авторитетное о нем суждение. Этого будет достаточно. Разумеется, не так-то легко будет выработать такую систему заполнения кресел в этих советах, которая гарантировала бы все области культуры от вмешательства в руководящую ими деятельность людей с узкопартийными или узкошкольными взглядами, нетерпимых сторонников какого-либо одного художественного течения или философской концепции, либо наконец защитников творческих интересов какой-нибудь ограниченной группы, нации или поколения. Мне не думается, однако, что в психологической атмосфере Розы Мира подобная система не могла бы быть выработана.

Если не вдаваться сейчас в разграничение понятий культуры и цивилизации, то можно сказать, что культура есть не что иное, как общий объем творчества человечества. Если же творчество — высшая, драгоценнейшая и священнейшая способность человека, проявление им божественной прерогативы его духа, то нет на земле и не может быть ничего драгоценнее и священнее культуры, и тем драгоценнее, чем духовнее данный культурный слой, данная культурная область, данное творение. Культура общечеловеческая еще только возникает; до сих пор мы видели в качестве совершенно оформившихся феноменов лишь культуры отдельных сверхнародов — то есть таких групп наций, которые объединены между собой именно совместно создаваемой, своеобразною культурой. Но каждая из таких культур отнюдь не исчерпывается тою своей сферой, которая пребывает, развиваясь, в нашем трехмерном пространстве. Те, кто эту культуру создали здесь, продолжают свое творчество и в посмертии — творчество, измененное, конечно, сообразно иным условиям того мира или тех миров, через которые проходит теперь душа человека-творца. Возникает представление о миллионных содружествах подобных душ, о небесных странах и градах над каждым из сверхнародов мира и об А р и м о й е — ныне возникающей небесной стране культуры общечеловеческой.

Подобный принцип отношения к культуре нов и необычен. Мы вправе были бы даже заметить, что при дальнейшем углублении и детализации он перерастет в обширную мифологию, если бы только под словом «миф» мы не привыкли понимать нечто, не имеющее под собой никакой реальности. Здесь же как раз напротив: речь идет о реальности колоссальных масштабов, которая отражается сниженно и замутненно, но все же отражается, в подобной мифологии.

Атмосфера Розы Мира и ее учения создадут предпосылки к тому, чтобы эта мифология о культуре стала достоянием каждого ума. И пусть во всей ее эзотерической сложности ее сможет охватить лишь ограниченное число сознаний; дух этой концепции, а не буква ее постепенно делается доступен почти для всех. И если вдуматься в те психологические перспективы, которые сулит овладение подобной концепцией со стороны масс, то перестанет казаться несбыточной и надежда на создание системы мероприятий, гарантирующей все области культуры от вмешательства людей, не имеющих на руководство этими областями никаких внутренних прав.

Глава 3

ОТНОШЕНИЕ К РЕЛИГИЯМ

Как часто употребляем мы слово «истина» и как редко пытаемся определить это понятие.

Не смутимся же, однако, тем, что повторяем, в сущности, вопрос Пилата, и попытаемся в меру наших сил разобраться в этом понятии.

Истинными называем мы ту теорию или то учение, которые, на наш взгляд, выражают неискаженное представление о каком-либо объекте познания. В точном смысле слова истина есть неискаженное отражение какого-либо объекта познания в нашем уме. И сколько существует на свете объектов познания, столько же может существовать истин.

Но объекты познания познаваемы *от нас*, а не *из себя*. Следовательно, истина о любом объекте познания, познанном от нас, должна быть признана истиной *относительной*. Истина же *абсолютная* есть отражение такого объекта познания, который каким-либо субъектом познан «в себе». Такое познание принципиально возможно лишь тогда, когда противостояние объекта и субъекта снято; когда субъект познания отождествляется с объектом.

Абсолютная истина универсальная есть неискаженное отражение в чем-то сознании Большой Вселенной, познанной «в себе». *Абсолютные истины частные* суть неискаженные отражения какой-либо *части* Вселенной — части, познанной «в себе».

Естественно, что Абсолютная истина Большой Вселенной может возникнуть лишь в сознании соизмеримого ей субъекта познания, субъекта всеведущего, способного отождествиться с объектом, способного познавать вещи не только «от себя», но и «в себе». Такого субъекта познания именуют Абсолютом, Богом, Солнцем Мира.

Бог «в Себе», как Объект познания, познаваем только Собою. Его Абсолютная истина, как и Абсолютная истина Вселенной, доступна только Ему.

Ясно, что любая *частная* истина, сколь бы мал ни был объект познания, для нас доступна только в ее *относительном* варианте. Такой агностицизм, однако, не должен быть понят как безусловный: при конечном совпадении любого частного субъекта познания, любой монады с Субъектом Абсолютным, для нее становится возможно познание не только «от себя», но и «в себе». Таким

образом, правомерен не безусловный, а только *стадиальный* агностицизм.

У частных истин быть может несколько или много вариантов — личных, индивидуальных разновидностей одной частной относительной истины. При этом объекты познания малых (сравнительно с субъектом) масштабов отразятся в сознании ряда родственных субъектов почти или полностью идентично: именно родственность многих субъектов между собой обуславливает то, что родственны и их личные варианты той или иной истины. Если бы это было не так, люди были бы лишены возможности понять друг друга в чем бы то ни было. Но чем больше объект познания сравнительно с субъектом, тем больше вызываемых им вариантов. Относительная истина Вселенной и относительная истина Божества порождают столько же личных вариантов, сколько имеется воспринимающих субъектов.

Ясно, стало быть, что все наши «истины» суть, строго говоря, лишь приближения к истинам. И чем мельче объект познания, тем лучше он может быть охвачен нашим познанием, тем уже разрыв между его абсолютной истиной и нашей относительной истиной о нем. Впрочем, в соотношении масштабов субъекта и объекта имеется граница, ниже которой разрыв между абсолютной и относительной истиной вновь начинает возрастать: например, разрыв между абсолютной истиной какой-нибудь элементарной частицы и нашей относительной истиной о ней чрезвычайно велик. Между же Абсолютной истиной Вселенной, Абсолютной истиной Божества — и нашими относительными истинами о них разрыв велик необъятно.

Я высказываю мысли, которые после Канта должны, казалось бы, быть общеизвестными и общепринятыми. Однако, если бы они были усвоены каждым религиозно чувствующим и религиозно мыслящим человеком, ничьи претензии на личное или коллективное познание Абсолютной истины, ничьи претензии на абсолютную истинность какой-либо теории или учения не могли бы иметь места.

Как показано выше, Абсолютная истина есть достояние только Всеведущего Субъекта. Если бы такой истиной обладал какой-нибудь человеческий субъект, например коллективное сознание конкретно-исторической церкви, это обнаружилось бы объективно в безусловном всеведении этого коллективного сознания. И тот факт, что таким всеведением не обладают ни один человеческий коллектив и ни одна личность, лишней раз

показывает беспочвенность претензий какого бы то ни было учения на абсолютную истинность. Если бы представители Роды Мира вздумали когда-нибудь претендовать на абсолютную истинность ее учения, это было бы так же беспочвенно и нелепо.

Но столь же беспочвенно и нелепо утверждение, будто бы все учения или какое-либо одно учение *ложно*. Совершенно ложных учений нет и не может быть. Если бы появилось мнение, лишенное даже крупницы истинности, оно не могло бы стать учением, то есть переданной кому-то суммой представлений. Оно осталось бы собственностью того, кто произвел его на свет, что и случается, например, с философическими или псевдонаучными построениями некоторых душевнобольных. Ложными, в строгом смысле слова, могут быть только отдельные *частные* утверждения, которым способен придавать иллюзию истинности заемный свет от частноистинных тезисов, соседствующих с ним в общей системе. Однако имеется известное соотношение количества и весомости частноистинных и ложных тезисов, при котором сумма ложных начинает обесценивать крупницы истины, в данном учения заключенные. Далее следуют учения, в которых ложные утверждения не только обесценивают элемент истинного, но переводят всю систему в категорию отрицательных духовных величин. Подобные учения принято именовать учениями «левой руки». Будущее учение Противобого которым, по-видимому, ознаменуется предпоследний этап всемирной истории, построится таким образом, что при минимальном весе частноистинного элемента свет от него будет придавать вид истинности максимуму ложных утверждений. Этим и обусловится то обстоятельство, что это учение будет запутывать человеческое сознание в тенетах лжи прочнее и безвыходнее, чем какое бы то ни было другое.

Религии, к разряду учений «левой руки» не относящиеся, разнствуют между собой не в силу истинности одной из них и ложности остальных, а по двум совершенно другим координатам. А именно:

во-первых — в силу различных ступеней своего восхождения к абсолютной истине, то есть сообразно убыванию в них субъективного, эпохального элемента. Это *стадиальное* различие можно условно назвать различием *по вертикали*;

во-вторых — они разнствуют между собой в силу того, что они говорят о разном, отражают различные ряды объектов по-

знания. Этот род различий — различий *сегментарных* — можно условно назвать различиями *по горизонтали*.

Оба вида различий не следует ни на минуту упускать из виду при рассмотрении вопроса об отношении Розы Мира к другим религиям.

В развитии науки мы наблюдаем непрерывный процесс накопления относительных частных истин и их совершенствование, уточнение. На очередной стадии отвергаются обычно не ряды накопленных ранее фактов, а лишь их устаревшее толкование. Случаи, когда старый ряд фактов ставился под сомнение и отвергался, как это произошло, например, с алхимией, — сравнительно редки. Но в истории религий господствуют, к сожалению, иные обычаи. Вместо преемственно сменяющихся друг друга осмыслений не подвергающихся сомнению духовных фактов, мы видим чаще всего, как на очередной стадии религиозного развития отвергаются значительные ряды ранее постигнутых относительных, частных истин, а свой, новый ряд их, со включением некоторого числа старых, выдается за абсолютное. Это наблюдение особенно справедливо по отношению к смене так называемых языческих религий системами монотеизма.

Ясно, что сохранение нами подобных обычаев в условиях расширяющегося кругозора XX столетия привело бы нас, самое большее, к созданию еще одной секты. Привнесение в религию научной методике было бы, конечно, грубой ошибкой, столь же незаконной, как перенесение методов искусства на область науки. Но перенять доброе обыкновение ученых — не отвергать, а переосмысливать ряды накопленных ранее относительных истин — давно пора.

Из сказанного вытекает, что никакие учения, кроме учений «левой руки», распознаваемых, прежде всего, по их душевно растлевающему воздействию, не могут быть отвергнуты полностью. Они должны быть признаны недостаточными, обремененными субъективно-человеческими привнесениями: эпохальными, классовыми, расовыми, индивидуальными. Однако зерно относительной истинности, зерно познания «от нас» той или другой области трансфизического мира имеется в каждой из религий, и каждая такая истина драгоценна для всего человечества. Естественно при этом, что объем истинности систем, сложившихся в итоге опыта множества индивидуумов, как правило, больше объема истинности систем, распространенных

только у небольших групп. Исключение могут составлять молодые системы, восходящие быть может, к широкому распространению, но, в силу естественного хода вещей, сперва минующие стадию келейного или ограниченно группового существования.

Подобные широко распространенные системы называются в данной концепции — как это будет подробно разъяснено несколько ниже — мифами. За мифами всегда стоит та или иная трансфизическая реальность, но она не может быть не искаженной и не запутанной привнесением в миф множества «человеческого, слишком человеческого». Методика высвобождения трансфизического зерна мифов из их человеческой шелухи вряд ли может быть, во всяком случае теперь, строго и точно сформулирована. Пока не удалось еще выработать необходимый для этого механизм критериев, которого в любом случае было бы достаточно. Да и сомнительно, разрешима ли подобная сложнейшая мистическая задача при помощи одного радио. Можно, правда, построить исходя из телеологии истории определенную классификацию религий, которая позволила бы выделить религии высокоразвитые в особую группу, и убедиться, что есть тезисы, утверждаемые всей этой группой религий, хотя и с различной степенью чистоты и силы. К их числу принадлежат: тезис о единстве Бога, о множественности различных духовных иерархий, о множественности разнозначных миров, о бесконечной множественности становящихся монад, а также о существовании некоего общего нравственного закона, который характеризуется посю- или потусторонними воздаяниями за совершенное человеком в жизни. Во всем же остальном, и даже в истолковании только что перечисленных общих тезисов, мифы либо противоречат один другому, либо говорят о разном.

Однако, если во многих случаях индивидуальность субъекта привносит в представления о познаваемом нечто постороннее, сугубо человеческое, то, с другой стороны, столь же многочисленны случаи, когда какая-либо духовная истина может быть воспринята только определенным складом познающего сознания. Индивидуальность оказывается фактором, не замутняющим познание, но, наоборот, делающим его реально возможным. Телеологический процесс в религиозной истории человечества заключался отчасти именно в том, чтобы воздействием исторических и биографических факторов отшлифовать сознание отдельной личности, народа, расы, эпохи таким образом, чтобы сделать его способным к восприятию данных истин, дан-

ной трансфизической реальности. Другим же индивидуальностям, народам, расам, эпохам такое, отшлифованное определенным образом сознание и его религиозный опыт могли казаться странными, искаженными либо незрелыми, чреватými всякого рода абберациями.

Из сотен возможных примеров я возьму пока один, но чрезвычайно яркий: идею перевоплощений. Глубоко присущая индуизму и буддизму, имеющаяся в эзотерическом иудаизме (Каббала), идея эта отвергается ортодоксальным христианством и исламом. Следует ли, однако, думать на основании этой «невсеобщности» идеи, что она представляет собою расовую или стадильно-культурную абберацию индийского сознания? Дело в том, что при согласовании тезисов различных религий надлежит, прежде всего, научиться отсеивать главное от второстепенного, общее от частного. «Общее», главное любого тезиса заключается в *семени* идеи, проявляющем чрезвычайную устойчивость в веках: брошенное в почву различных культурных сред, оно дает различные побеги — различные варианты данного тезиса. Если телеологическая направленность вообще имеется в истории, то, конечно, направленность эта должна сказаться прежде всего в бытии именно таких устойчивых духовных семян — в широко распространенных, исповедуемых миллионами сознаний *основах идеи*.

Семя идеи перевоплощений состоит в учении о некоем *Я*, совершающем свое космическое становление или известный отрезок его по ступеням последовательных существований в нашем физическом мире. Все остальное, как то: духовно-материальная природа и структура перевоплощающегося, та или иная зависимость перевоплощений от закона кармы, распространение принципа перевоплощений также на мир животных или отрицание такого распространения — все это лишь варианты, разновидности основной идеи. И понятно, что в этих вариантах и деталях можно больше и чаще столкнуться с подлинными абберациями, чем в ее семени, для восприятия которого народом индийским телеологические силы работали много веков, затратив неимоверный труд на ослабление у многих его представителей средостения между дневным сознанием и глубинной памятью — хранилищем воспоминаний о путях души до момента ее последнего воплощения. Ошибочность религиозных догматов заключается, по большей части, не в их содержании, а в претензиях на то, что утверждаемый догматом закон имеет всеобщее, универсальное,

космическое значение, а утверждаемый догматом факт должен исповедоваться всем человечеством, ибо без этого будто бы нет спасения. Все изложенное приводит нас к признанию подлинности того духовного опыта, который отлился в идею перевоплощений: да, такой путь становления имеет место; ничего принципиально неприемлемого для христианства или ислама в существование этой идеи *нет*, кроме, разве, того, что об идее перевоплощений до нас не дошло никаких высказываний основателей христианства и ислама (что, впрочем, само по себе ничего не доказывает, так как в Евангелие и Коран попало, как известно, далеко не все, что они говорили). Но решительно ни из чего не следует, что путь перевоплощений будто бы есть единственно возможный, единственно реальный путь становления индивидуального духа. Отшлифованное в таком направлении, чтобы постигнуть этот тип пути, сознание индийского народа, как часто в подобных случаях бывает, абсолютизировало свое открытие, стало глухо к восприятию других типов пути становления. С еврейским и арабским народами произошло то же самое, но под противоположным знаком: восприняв истину о другом пути становления, при котором воплощение в физическом слое совершается лишь один раз, сознание этих народов столь же неправомерно абсолютизировало этот второй тип пути. Этому способствует и то, что в различных метакультурах человечества может вообще преобладать тот или другой тип. В результате возникло между двумя группами мировых религий разногласие, кажущееся неразрешимым. В действительности же, обе эти антагонистические идеи истинны в своей основе, фиксируя два из возможных типов пути, и для снятия этого «противоречия» не требуется ничего, кроме отказа каждой из сторон от претензий на универсальную исключительность своей идеи.

Итак, одна из исторических причин непримиримых якобы противоречий между религиями заключается в неправомерной абсолютизации какого-либо тезиса.

А вот и другая причина.

Одним из основных догматов христианства является, как известно, учение о Троичности Божества. Основатель ислама отверг этот догмат, заподозрив в нем реминисценцию многобожия, а главное — потому, что его собственный духовный опыт не заключал в себе положительного указания на подобную истину. Но вряд ли стоит в XX веке повторять аргументацию христианских богословов, в свое время доказывавших и объяснявших ко-

ренное различие между догматом Троичности и многобожием: это настолько элементарно, что, надо полагать, теперь и среди магометанских мыслителей не найдется таких, которые, разбираясь в вопросах христианского вероучения, стали бы настаивать на этом ошибочном утверждении. Что же касается второго аргумента — того, что духовный опыт Мухаммеда не содержал подтверждения Троичности, — то он несостоятелен логически. Ничей вообще опыт не может содержать подтверждений всех истинных идей, возникших ранее, в ходе коллективного человеческого богопознания и миропознания. Всякий личный опыт ограничен; только премудрость Всеведущего охватывает всю сумму истин «в себе». Поэтому то обстоятельство, что Мухаммед не пережил своим духовным опытом ничего, подтверждающего тезис Троичности, само по себе никак не должно служить аргументом для опровержения этой идеи, даже в глазах ортодоксальных мусульман. Вместо формулы «Пророк, познав совершенное единство Божие, убедился в ложности учения о Троице», следует, по справедливости, формулировать так: «Пророк, познав совершенное единство Божие, не получил, однако, указаний на Троичность Единого». Вполне естественно, что христианское вероучение не только не имеет никаких возражений против мусульманского учения о Единстве, но полностью с ним совпадает. Оно лишь дополняет этот тезис той идеей, которая одною своей устойчивостью две тысячи лет и своей распространенностью на миллиарды сознаний указывает на истинность своей *основы*. К чему же сводится противоречие между этими двумя главными догматами двух религий? Разве не к произвольному и неправомерному отрицанию одною из них того, о чем в ее собственном положительном опыте нет никаких данных?

Теперь мы видим вторую историческую и психологическую причину укоренившихся разногласий между вероучениями: неправомерное отрицание чужого утверждения только на том основании, что мы не располагаем положительными данными по этому вопросу.

К сожалению, разногласиям, основанным исключительно на этой логической и гносеологической несообразности, нет числа. Привлечем к рассмотрению еще один случай, известный каждому: ислам (суннизм) и протестантизм отрицают правомерность культа святых; почти все остальные религии его принимают и, в той или иной форме, осуществляют. Возражения против этого культа сводятся к тому, что человек не нуждается ни в ка-

ких посредниках между собой и Божеством и что духовные почести и молитвы, будучи возносимы не к Богу, а к тем, кто были людьми, — греховны, ибо ведут к обожествлению человека. Но что, собственно, значит эта знаменитая формула: «Человек не нуждается в посредниках»? Если в них не нуждается тот, кто эту мысль провозглашает, то откуда у него право говорить за других, даже за все человечество? Кто его уполномочивал? Уж не те ли миллиарды людей, которые во всех почти странах, во всех почти религиях ощущали живую всedневную потребность в таких посредниках, что и сделало существование культа святых психологически возможным? Если мы, не испытывая потребности в чем-либо (есть люди, не испытывающие потребности, например, в музыке), станем негодовать на всех, эту потребность испытывающих, как на глупых выдумщиков, корыстных лжецов или темных невежд, что мы докажем этим, кроме собственного невежества? — Второй довод — неправомерность воздавания божеских почестей и молитв тем, кто были людьми. Но почестей божеских (в монотеистическом смысле) им и не воздают, никто их не приравнивает к Богу: мысль совершенно абсурдная, а для людей, выросших в христианских странах, непростительно невежественная. Правда, в индуизме имеется идея аватар — воплощений Вишну в человеческом облике; но то — аватары, а вовсе не святые. Перед святыми преклоняются именно как перед людьми, сумевшими преодолеть свое человеческое, либо как перед осуществителями воли Божией, посланцами мира горнего. Протестантизм отрицает понятие святости вообще. Но здесь обнаруживается скорее спор о частностях, чем о существе дела: ведь, отвергая аскетический монашеский идеал, Лютер и Кальвин не умаляли значения мирской праведности, хотя и понимали ее, с одной стороны, шире, чем католицизм, а с другой — несколько сниженно: отрицался Узкий Путь как таковой. Мухаммед, умирая, запретил своим последователям обращаться к его духу молитвенно. Это показывает чистоту и искренность его помыслов, но противоречит основам религиозно-нравственного миропредставления вообще. Ведь если праведность, как высшая самоотдача себя человечеству во имя Божие, есть безупречное и бескорыстное Ему служение (а если понимать праведность так, то смешно отрицать, что она существует на свете, встречается, хотя и редко, в жизни), — если так, то нельзя представить себе праведную душу, после кончины успокоившуюся в бездейтельном блаженстве. Всеми силами своей души, в том числе и такими, кото-

рые раскрываются только после смерти, праведник будет осуществлять помощь живущим и нижестоящим в их восходящем движении. Это также естественно, как помощь взрослого ребенку, и столь же мало, как эта помощь, умаляет или уничтожает тех, на кого направлена. Вряд ли это могло быть неизвестно пророку Мухаммеду. Надо полагать, что некоторые крайности, излишества в культе святых, которые он наблюдал у христиан, побудили его запретить своим последователям какие бы то ни было установления этого рода. Возможно, он полагал, что этот запрет уравновешивается тем обстоятельством, что усопшие праведники не обязательно нуждаются в напоминании со стороны молящихся, чтобы оказывать им невидимую помощь. Так или иначе, решительно всякое учение, утверждающее истину духовного бессмертия и высокий нравственный закон, только вопреки логике и собственным принципам может полагать, будто дух праведника в его посмертии относится к нынеживущим бездеятельно и безучастно. Отрицание культа святых, или лучше сказать, праведных, логично только с одной точки зрения: материалистической. Но, с другой стороны, абсолютизирование культа святых как общеобязательного неправомерно в такой же степени. Бывают длительные этапы в пути души, даже в пути целого народа, когда им действительно не нужны никакие «посредники»; когда душа, сознательно или неосознанно, чувствует, что укрепление ее самостоятельности, силы, свободы, духовной воли исключает возможность обращения за помощью к кому-либо, кроме Самого Бога. На каком же основании и по какому праву будем мы навязывать такой личности участие в культе святых?

Значительно большую сложность являет основное противоречие между христианством и другими религиями: утверждение божественности Иисуса Христа, как догмат, почитание Его за воплощение одной из ипостасей Троицы. Всем известно, что остальные религии либо соглашаются на признание Иисуса пророком в ряду других пророков, либо игнорируют Его, иногда даже энергично отрицая Его провиденциальную миссию. Христианство же, со своей стороны, опираясь на слова своего Основателя о том, что никто не приходит к Отцу иначе, как через Сына, отрицает возможность спасения для всех нехристиан.

Представляется, однако, что много недоумений и грубых снижений идей мы избежим, если во все речения Христа, до нас дошедшие, будем вникать, задавая себе вопрос: говорил ли в данном случае Иисус как личность, как конкретное историчес-

кое лицо, прожившее в такой-то стране от такой-то до такой-то даты, или же Его разумом и устами трансформируется в человеческие слова голос Бога, который Он слышит в себе. Каждое предложение Христа требует рассмотрения именно под таким углом: говорит ли Он в данном случае как Вестник истин духовного мира или же как человек. Ибо нельзя представить, чтобы Иисус во все мгновения своей жизни говорил только как Вестник и никогда — просто как человек. Вряд ли подлежит сомнению, что в Его скорбном восклицании на кресте «Отче, Отче, вскую Меня покинул?» запечатлена мука одной из тех минут, когда он, Иисус, человек, переживал трагедию оставленности, трагедию прерыва связи своего человеческого Я с Божественным Духом; а в учении Его, изложенном на Тайной вечере, все время слышится, как за местоимением первого лица предполагается Бог-Сын, Мировой Логос. — Такому разделению речей Христа на две группы следует подвергнуть все слова Его, сохраненные Евангелием. Совершенно очевидно в таком случае, что и слова Его о том, что никто не приходит к Отцу иначе, как через Сына, следует понимать не в том сниженном, суженном, оплотненном и безжалостном смысле, что не спасется будто бы ни одна душа человеческая, кроме христиан, а в том величественном, истинно духовном, космическом смысле, что всякая монада, восполнившая себя до конца, погружается в глубины Бога-Сына, Сердца и Демиурга вселенной, и только через этот всезавершающий акт возвращается к своему истоку, к Богу-Отцу, непостижимо отождествляясь Ему и всей Пресвятой Троице.

Один из виднейших деятелей религиозно-философской индийской общины Брахмо-Самадж, Кешуб Чандер-Сен, высказал весьма глубокую мысль: он сказал, что мудрость индуистов, кротость буддистов, мужество магометан — все это от Христа. Очевидно, под этим именем он понимал в данном случае, конечно, не историческую личность Иисуса, а Логос, Себя в Иисусе Христе выразивший преимущественно, но не исключительно. В этой идее нащупывается, на мой взгляд, путь к такому углу зрения, на котором могут прийти к взаимопониманию христиане и многие течения восточной религиозности.

Думается также, что некоторые выражения, укоренившиеся в христианском богословии, почти механически повторяемые нами и как раз являющиеся неприемлемыми для других верований, нуждаются в пересмотре и уточнении. Как понимать, например, слово «вочеловечение» в применении к Иисусу Хрис-

ту? Неужели мы и теперь представляем себе так, что Логос вселенной облекся составом данной человеческой плоти? Можем ли мы сделать допущение, что путем телеологической подготовки из поколения в поколение был создан, так сказать, телесный инструмент, индивидуальный физический организм, человеческий мозг, способный вместить Разум вселенной? Если так, то ведь надо полагать, что Иисус уже при жизни обладал всеведением, что не согласуется даже с фактами евангельской истории и с Его собственными словами. Не нестерпима ли для нас эта диспропорция масштабов: сближение категорий космических в самом предельном смысле с категориями локально-планетарными, узкочеловеческими? И нестерпима не потому, что она *превышает* границы нашего разумения, а, наоборот, потому что в ней слишком очевиден продукт мышления на определенной, давно минованной культурной стадии, когда вселенная представлялась в миллиарды раз миниатюрнее, чем она есть на самом деле, когда казалось реально возможным падение на землю твердого небесного свода и жуткий град из звезд, сорвавшихся с крюков, на которых они подвешены. Не точнее ли было бы поэтому говорить не о вочеловечении Логоса в существе Иисуса Христа, а о Его в Нем выражении при посредстве великой богорожденной монады, ставшей Планетарным Логосом Земли? Мы именуем Христа *Словом*. Но ведь говорящий не воплощает, а именно *выражает* себя в слове; Бог не воплощается, а выражает Себя в Христе. Именно в этом смысле Христос есть воистину Слово Божие. А если так, то отпадает еще одно из препятствий к соглашению христианства с некоторыми другими религиозными течениями.

Я коснулся кратко только четырех межрелигиозных разногласий. Исключая одно последнее, проистекающее из спорности и, может быть, недостаточной отчетливости формулировок, недостаточной откристилизованности идей, остальные основаны на несовпадении духовного опыта великих визионеров, на том, что, при созерцании некоторых объектов с различных точек Шаданакара, под различным духовным углом созерцатели видят данный объект в различных аспектах. Условно можно назвать такие разногласия противоречиями *по горизонтали*, разумея под этим правомерность обеих точек зрения и их мнимую, а не истинную противоречивость.

Еще пример. С тех пор, как существуют христианство и ислам, они продолжают бороться с тем, что они называют языче-

ством. С течением веков человечество прониклось идеей о непримиримости, несовместимости монотеизма с многобожием, как своего рода аксиомой. Исследование того, почему и как это произошло, увело бы нас слишком в сторону. Существенно другое: на каком основании религии семитического корня, утверждающие бытие духовных иерархий и еще в средние века разработавшие до мелочей учение о них — ангелологию и демонологию, — ограничивают многообразие этих иерархий теми немногими, которые были включены в эти средневековые схемы? Имеется ли хоть тень последовательности в их принципиальном отказе всякому опыту о духовных иерархиях — в истинности? Решительно никаких оснований для этого, кроме опять-таки ссылок на молчание об этом Евангелия и Корана. Именно ввиду недостаточности оснований для огульного отрицания церковь в первые века христианства не столько отрицала богов олимпийского пантеона, сколько отождествляла их с демонами и бесами семитических канонизированных текстов. При этом, вопреки очевидности, игнорировался характер этих божеств, какой восприняло политеистическое духовопознание, и им произвольно приписывались снижающие и опорочивающие черты либо же нарочито подчеркивался слишком антропоморфный элемент, привнесенный в эти представления субъектом познания — политеистическим человечеством и к тому времени сохранившийся уже только в их низших, простонародных вариантах. Как будто признание истинности бытия иерархий природы, великих стихий или духов-народоводителей могло поколебать единство Бога — Творца и зиждителя вселенной, истока и устья мирового потока жизни — больше, чем признание других Его прекрасных детей — ангелов и архангелов, а также тех демонов, о которых трактовалось в канонизированных поучениях Библии!

К сожалению, это древнее недоразумение не разъяснено до сих пор: от античного многобожия давно ничего не осталось, но ожесточенная, узкая, лишенная всякой мудрости нетерпимость проявляется всякий раз, когда христианским церквям или по крайней мере тем, кто говорит от их имени, доводится высказывать свое суждение по вопросам индусских, китайских, японских, тибетских систем. Столь же нетерпимы и две другие религии семитического корня. Здесь налицо типичный случай разнствования религий по горизонтали: не противореча друг другу по существу, не сталкиваясь друг с другом в необозримом духовном космосе, христианство и индуизм, буддизм и ислам, иу-

действие и религия шинто говорят о разном, о разных, так сказать, духовных странах, о разных сегментах Шаданакара; ограниченность же человеческая толкует это как противоречия и объявляет одно из учений истинным, а остальные — ложными. — «Если Бог един, то другие боги суть, так сказать, самозванцы: это — или бесы, или игра человеческого воображения». Какая детская мысль! Господь Бог един, но богов много; начертание этого слова в русском языке то с большой, то с малой буквы достаточно ясно говорит о различиях содержания, вкладываемого в это слово в обоих случаях. Если же повторение этого слова в различных смыслах пугает кого-нибудь, пусть он заменит его, говоря о политеизме, каким-нибудь другим: «великие духи», «великие иерархии», но от этого ничего не изменится, если не считать того, что употребление слова «дух» может в ряде случаев повести к недоразумениям, ибо многие из этих богов суть не духи, а могучие существа, обладающие материальной воплощенностью, хотя и в других, трансфизических слоях бытия.

Все эти основанные на недоразумениях разногласия между религиями приводят на память одно сравнение, когда-то встреченное мною в религиозной литературе, хотя я и не помню, где именно: как если бы несколько путешественников поднимались с разных сторон на одну и ту же гору, видели и обследовали различные ее склоны, а по возвращении заспорили бы о том, кто из них видел реально существующее, а кто — причуды собственного воображения; причем каждый рассуждал бы, что гора именно такова, каковой она оказалась с его стороны, а свидетельства других путешественников о других ее сторонах — лживы, абсурдны и являют собой западню для душ человеческих. Таким образом, первый вывод, вытекающий из сопоставления междурелигиозных разногласий, заключает в себе путь к устранению тех из них, которые основаны либо просто на недоразумении, либо на несопадении объектов религиозного познания в различных рядах опыта, то есть противоречия «по горизонтали».

Но не только политеизм, но и анимизм, и праанимизм не исчерпываются мутными, случайными, субъективными образами, возникавшими в сознании первобытного человечества: трансфизическая реальность стоит и за ними. Провидение именно потому и есть Провидение, что оно никогда не оставляло народы и расы быть игрищем фантазмов и иллюзий, без всякой возможности соприкоснуться с высшей реальностью. Не Бога, а темную, злобную силу пришлось бы признать

за истинного вожатого человечества, если представить себе, что десятки тысяч лет первобытному человечеству преграждалась всякая возможность пережить что-либо духовное или по крайней мере иноматериальное, соприкоснуться с чем-либо, кроме физического мира да собственных фантазмагорий. — Пусть так, но чем может духовный опыт «дикаря» обогатить нас — нас, стоящих на столь высокой, сравнительно с ним, ступени духопознания? — А вот именно тем, что было постигнуто тогда, в той обстановке, тою неповторимой психикой, но не передалось, утратилось, не было преемственно воспринято последующими формами духопознания в свою сокровищницу. Специальное исследование магических представлений и опыта пралогического мышления под этим углом зрения помогло бы не только «реабилитации» этих древних верований в их существенных чертах, но и нашло бы для них место в начинающем формироваться теперь синтетическом религиозном мировоззрении. Выяснилось бы, например, что представления австралийского племени арунта о единой жизненной субстанции, переливающейся в материи непрерывно и повсеместно, из существа в существо, из предмета в предмет (а в таких представлениях заключается, в сущности, вся религия этого племени), есть древнейшее откровение человечества о трансфизическом космосе: это есть живое, ярчайшее, безусловнейшее, чем когда-либо потом, переживание единой жизненной силы; австралийцы окрестили ее арунгвильтой, высокоразвитый брахманизм называет ее праной, а как назовет ее через двадцать или тридцать лет мировая наука — это мы еще услышим.

Это разногласие — утверждение тезиса об арунгвильте-пране¹ древнейшими верованиями и отрицание его подавляющим большинством позднейших религиозных учений — можно рассматривать как разногласие стадияльное, разногласие «*по вертикали*», разногласие между различными ступенями религиозного познания. Но и здесь мы наталкиваемся на ту же ошибку, тот же неправомерный подход к чужому опыту, с которым мы познакомились, разбирая вопрос об отрицании исламом культа святых или идеи Троичности. И здесь, подо всеми доводами, которые

1 Кстати, если Евангелие не говорит об арунгвильте-пране прямыми словами, зато оно подробно рассказывает о длинном ряде случаев, когда Христос и, позднее, апостолы пользовались этой сущностью. Совершенно непонятно, как могли бы христианские ортодоксы объяснить суть того иноматериального механизма, которым пользовались виновники чудесных исцелений, если отрицать наличие жизненной силы, разлитой во всем и везде.

приводятся против древнейшего откровения, таится все тот же наивный ход мысли: об арунгвильте-пране ничего не говорят авторитетные для меня канонизированные тексты; следовательно, ее нет. Ход мысли, по меньшей мере, опасный, потому что в таком случае придется отрицать реальность не только арунгвильты-праны, но и радиоволн, и элементарных частиц, и множества химических элементов, и галактик, и даже, например, планеты Уран, ибо обо всем этом канонические тексты хранят абсолютное молчание.

Выясняется, таким образом, еще и следующее: решительная необходимость учесть то, что не было учтено в эпоху формирования старинных, так сказать, классических конфессий: опыт первобытного духопознания, а так же то, что не могло быть учтено тогда по самому ходу вещей: опыт многовековой эволюции религий на всех континентах, опыт мировой истории и опыт науки. Материал этих рядов опыта учит нас подходить ко всем догматам и тезисам динамически, уметь понять всякий тезис как звено в цепи религиозно-исторического развития и уметь расщепить его на два, а то и на три пласта. Глубиннейший пласт есть *основа идеи*, содержащая относительную частную истину. Другой пласт есть специфическая окраска, разработка, детализация идеи в той мере, в какой индивидуальный, расовый или эпохальный аспект ее *оправдан*, ибо именно такой и только такой расовый или эпохальный склад души дал возможность этому народу вообще воспринять эту идею. Самый же внешний, третий пласт — шелуха, аберрации, неизбежная муть человеческих сознаний, сквозь которую проникает свет откровения. Следовательно, опыт всех стадий развития, в том числе политеистической, анимистической и пр., должен быть освобожден от своего внешнего пласта, от шелухи, заново осмыслен и включен в мировоззрение *религии итога*. Конечно, принцип такой работы здесь едва намечен, системы критериев нуждаются в огромной разработке, да и вообще такой пересмотр «религиозного наследия» — задача колоссальная, требующая совместного труда многих и многих; в настоящее время для нее нет даже и кадров, не говоря о прочих необходимых условиях. Но если эта задача велика, то чем скорее будет приступлено по крайней мере к подготовительной работе, тем лучше. Не надо преуменьшать трудностей, но есть все основания для надежд на то, что при условии доброй воли, при энергии и инициативности руководящих лиц пропасти и рвы, разделяющие ныне все религии, будут постепенно засыпа-

ны, и хотя каждая из религий сохранит своеобразие и неповторимость, но некоторый духовный союз, некоторого рода уния сможет со временем объединить все учения «правой руки».

Известно, что многие японцы, исповедующие христианство, остаются в то же время верными шинтоизму. Правоверного католика или протестанта, да и православного тоже это коробит, он не может понять, как это психологически возможно, и даже ощущает в этом явлении нечто как бы кощунственное. Но безо всякого кощунства это возможно и даже совершенно естественно потому, что опыт христианства и опыт шинтоизма различаются по горизонтали: они – о разном. Шинтоизм есть национальный миф. Это есть аспект мирового религиозного откровения, обращенный к народу японскому и только к нему. Это – осмысление духовной, лучше сказать, трансфизической реальности, надстоящей над японским народом и только над ним и проявлявшейся в его истории и культуре. В шинтоизме не найти ответов на вопросы космического, планетарного или общечеловеческого характера: о Творце мира, о происхождении зла и страдания, о путях космического становления. Он говорит только о метаистории Японии, о ее метакультуре, об иерархиях, ею народоводительствующих, и о небесном соборе просветленных душ, поднявшихся в высшие миры Шаданакара именно из Японии. Синкретизм японцев, то есть одновременное исповедание ими шинтоизма и католичества, шинтоизма и буддизма, есть не психологический парадокс, а, напротив, первый намек на то, как должны дополнять гармонически друг друга опыты и истины различных религий.

Конечно, прежде чем станет осуществимой уния между христианством и другими религиями и культурами «правой руки» – а это есть одна из исторических задач Розы Мира, – естественно достичь воссоединения христианских церквей: подготовку такого воссоединения, богословскую, философскую, психологическую, культурную и организационную, Роза Мира будет проводить с неослабевающим воодушевлением. Пока воссоединения христианства не произошло, пока Восьмой вселенский собор (или несколько последовательных соборов) не рассмотрят весь объем старой догматики и не внесут в него ряд тезисов, основанных на духовном опыте последней тысячи лет, пока они не санкционируют наивысшим авторитетом воссоединенного христианства тезисы учения Розы Мира, до тех пор эти тезисы могут, конечно, исповедоваться, утверждаться, пропове-

доваться, но не должны быть отлиты в замкнутые, завершенные, безусловные формы, рекомендуемые к исповеданию всем христианам.

В этом воссоединении христианских конфессий и в дальнейшей унии всех религий Света ради общего сосредоточения всех сил на совершенствовании человечества и на одухотворении природы Роза Мира видит свою надрелигиозность и интеррелигиозность.

Религиозная исключительность ее последователям не только чужда — она для них невозможна. Совершенству со всеми народами в их наивысших идеалах — вот чему учит ее мудрость.

Строение Розы Мира предполагает поэтому ряд концентрических кругов. Почитаться пребывающими вне всеобщей церкви не должны последователи никакой религии «правой руки»; те же из них, кто еще не достиг сознания надрелигиозного единства, занимают внешние из этих кругов. Средние круги охватывают менее деятельных, менее творческих из числа последователей Розы Мира; внутренние же — тех, кто смысл своего существования положил в сознательном и свободном богосотворчестве.

Пусть христианин вступает в буддийский храм с трепетом и благоговением: тысячи лет народы Востока, отделенные от очагов христианства пустынями и горными громадами, постигали через мудрость своих учителей истину о других краях мира горного. Сквозь дым курений здесь мерцают изваяния высоких владык иных миров и великих вестников, об этих мирах говоривших людям. Мирам этим не соприкоснулся западный человек; пусть же обогатятся его разум и душа хранимым здесь знанием.

Пусть мусульманин входит в индуистский храм с мирным, чистым и строгим чувством: не ложные боги взирают на него здесь, но условные образы великих духов, которых поняли и страстно полюбили народы Индии и свидетельство о которых следует принимать другим народам с радостью и доверием.

И пусть правоверный шинтоист не минует неприметного здания синагоги с пренебрежением и равнодушием: здесь другой великий народ, обогативший человечество глубочайшими ценностями, оберегает свой опыт о таких истинах, которыми духовный мир открылся ему — и никому более.

Розу Мира можно сравнить с опрокинутым цветком, корни которого — в небе, а лепестковая чаша — здесь, в человечестве, на земле. Ее стебель — откровение, через него текут духовные соки, питающие и укрепляющие ее лепестки, — благоухающий

хорал религий. Но, кроме лепестков, у нее есть сердцевина: это — ее собственное учение. Учение это не есть механическое сочетание наиболее высоких тезисов различных теософов прошлого: кроме нового отношения к религиозному наследию, Роза Мира осуществляет новое отношение к природе, к истории, к судьбам человеческих культур, к их задачам, к творчеству, к любви, к путям космического восхождения, к последовательному просветлению Шаданакара. В иных случаях отношение это ново потому, что хотя отдельные деятели прошлого говорили о нем, но *религией*, но *церковью* оно принимается и исповедуется впервые. В других случаях отношение Розы Мира оказывается новым в безотносительном смысле, потому что его еще не высказывал никто никогда. Это новое отношение вытекает из нового духовного опыта, без которого, вместо Розы Мира, был бы возможен только рассудочный и бесплодный религиозный эклектизм.

Но прежде чем перейти к содержанию этого духовного опыта, к основам этого учения, предстоит уяснить, на каких путях души этот опыт приобретается и какими методами можем мы облегчить или ускорить для себя его приобретение.

Книга II

О МЕТАИСТОРИЧЕСКОМ
И ТРАНСФИЗИЧЕСКОМ МЕТОДАХ
ПОЗНАНИЯ

Глава I

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ
МЕТАИСТОРИЧЕСКОГО МЕТОДА

Общеизвестно выражение: «религиозное чувство». Это выражение неправильное: религиозного чувства «вообще» не существует, а существует необозримый мир религиозных чувств и переживаний, бесконечно разнообразных, часто контрастирующих между собой, различных и по своему эмоциональному содержанию, и по объекту своей направленности, и по силе, и по тону, и, так сказать, своему цвету. Широты и многообразия этого мира даже не подозревает тот, кто лишен собственного религиозного опыта и заключает о нем только по свидетельствам других: свидетельства эти, при отсутствии личного опыта, почти всегда воспринимаются с недоверием, с предубеждением, со склонностью истолковывать их сообразно не с утверждениями самих свидетельствующих, а с догматическими положениями арелигиозных схем.

Многообразие мира религиозных чувств соответствует и многообразие методов религиозного познания. Излагать эти методы — значит писать фундаментальное исследование по истории и психологии религий. Подобная задача не имеет никакого отношения к задаче настоящей книги. В задачу книги входит — как один из компонентов — намерение дать понятие лишь о *некоторых* методах религиозного познания, а именно тех, которые, как мне кажется, имеют наибольшее творческое значение на текущем историческом этапе.

Произошла бы самая печальная ошибка, если бы кто-нибудь заподозрил автора этой книги в претензиях на роль одного из основоположников великого дела — исторического, культурного и

общественного — созидания того, что обозначается здесь словами «Роза Мира». Все обстоит совсем иначе. Роза Мира может явиться и появиться только в результате совместного труда огромного числа людей. Я убежден, что не только в России, но и во многих других краях Земли — в первую очередь, кажется, в Индии и Америке, происходит тот же процесс: та же грандиозная потусторонняя реальность вторгается в человеческое сознание, сначала — сознание единиц, потом сотен, чтобы позднее стать достоянием миллионов. Да, теперь, сейчас, вот в эту самую минуту, люди, еще ничего не знающие друг о друге, иногда разделенные огромными пространствами и рубежами государств, иногда — лишь стенами нескольких домов, переживают потрясающие прорывы сознания, созерцают трансфизическую высь и трансфизическую глубину, и некоторые силятся — каждый соответственно личным способностям и складу души — выразить или хоть приближенно отобразить этот опыт в творениях слова, кисти и музыки. Не знаю сколько, но, по-видимому, уже немало людей стоят в этом потоке откровения. И моя задача — выразить его так, как переживаю его именно я, — и только.

Следовательно, речь здесь пойдет не о научном строе мышления и познания и даже не о художественном, но о таком, понимание которого требует некоторой перестройки представлений, господствующих в России последние сорок лет.

Я полагаю, что серьезное вникновение исследователей, стоящих на высоте современной физиологии и психологии, в огромную апокалиптическую литературу, в автобиографические свидетельства духовных авторов и некоторых религиозных деятелей, имевших опыт подобного рода, непредубежденное изучение и обобщение материала, рассеянного в трудах по сравнительной религиологии, — все это приведет со временем к выработке научной методики, на основе которой удалось бы заложить фундамент гносеологии религиозного и, в частности, метаисторического познания. Можно себе представить возникновение научно-педагогической практики, ставящей целью овладеть механизмом этого познания, дать личности, до сих пор воспринимавшей этот процесс пассивно, способы вызывать его и управлять им, хотя бы отчасти. Но все это — дело будущего, и притом не близкого. Пока несомненно только то, что многообразие этого процесса зависит и от субъекта, и от объекта познания. Нельзя объять необъятного; я могу говорить здесь лишь о том варианте процесса, с которым меня столкнула собственная

жизнь. Придется идти на то, чтобы усилить в книге элемент автобиографический, хотя я лично, при любых иных обстоятельствах, этого элемента стремился бы избегать.

В центре внимания при этом будут три вида религиозного познания: метаисторический, трансфизический и вселенский. Впрочем, проводить вполне четкую границу между ними невозможно, да и ненужно.

Прежде всего: что, собственно, разумеется здесь под метаисторией?

Метаистория есть, говорит Сергей Булгаков, едва ли не единственный русский мыслитель, поставивший эту проблему ребром, — метаистория есть «ноуменальная сторона того универсального процесса, который одной из своих сторон открывается для нас как история»¹*. Мне думается, однако, что применение кантовской терминологии к проблемам этого порядка вряд ли поможет уяснению существа дела. Понятия ноуменального и феноменального были выработаны иным ходом мысли, вызваны иными философскими потребностями. Объекты метаисторического опыта могут быть втиснуты в систему этой терминологии лишь по способу Прокруста.

Еще неправомернее сближение метаистории с каким-либо из видов философии истории. Философия истории есть именно философия; метаистория же всегда мифологична.

Так или иначе, термин «метаистория» употребляется в настоящей книге в двух значениях.

Во-первых — как лежащая пока вне поля зрения науки, вне ее интересов и ее методологии совокупность процессов, протекающих в тех слоях инобытия, которые, будучи погружены в другие потоки времени и в другие виды пространства, просвечивают иногда сквозь процесс, воспринимаемый нами как история. Эти потусторонние процессы теснейшим образом с историческим процессом связаны, его собою в значительной степени определяют, но отнюдь с ним не совпадают и с наибольшей полнотой раскрываются на путях именно того специфического метода познания, который следует назвать метаисторическим.

Второе значение слова «метаистория» — это учение об этих процессах инобытия, учение, разумеется, не в научном, а именно в религиозном смысле.

¹ Булгаков С. Два града. М., 1911. Т. 2. С. 103.

* Многие цитаты приводятся Д. Андреевым по памяти, чем, в ряде случаев, вызваны некоторые неточности, как правило, в публикуемом тексте устаревшие.

Нет ничего удивительного в том, что возможность познания этих процессов обусловлена для различных индивидуумов рядом психологических, а может быть, и физиологических предпосылок. Очевидно, мы имеем здесь дело с некоторой врожденной предрасположенностью; мы столь же мало можем вызвать или уничтожить ее, как, например, врожденное свойство музыкальности. Однако самая эта способность может быть на протяжении жизни или заглушена, или просто остаться неиспользованной, как зарытый в землю талант, или, наконец, подвергнуться развитию, иногда даже чрезвычайно ускоренному. Научно-воспитательная система, которая кажется нам возможной в будущем, способствовала бы именно развитию этой способности. Пока же средства положительного воздействия на эту способность приходится нащупывать почти вслепую, и заметного развития ее на протяжении жизни не получилось бы, вероятно, совсем, если бы некоторые силы, действуя навстречу нашим усилиям, не брали бы на себя огромный труд развития в нас соответствующих органов восприятия. Однако кажется весьма правдоподобным, что для возникновения процесса метаисторического познания необходимо, кроме врожденных свойств и деятельной помощи Провиденциальных сил, и кое-что приобретенное нами самими, например — наличие пусть скромного, но безусловного запаса положительных исторических сведений. Для человека совершенно невежественного, никак не переживающего своей связи с историческим потоком явлений, живи он в австралийской пустыне или в дебрях современного города-гиганта, метаисторический метод познания закрыт. Участием в накоплении вот этого именно запаса исторических сведений и ограничивается пока роль научного фактора в разбираемом психологическом процессе, точнее — в подготовке к этому процессу. Самый же процесс, по крайней мере, тот его вариант, который мне знаком, не имеет к научным формам познания ни малейшего отношения. Повторяю это и подчеркиваю.

Состоит он из трех последовательных стадий.

Первая стадия заключается в мгновенном внутреннем акте, совершающемся без участия воли субъекта и, казалось бы, без видимой предварительной подготовки, хотя, конечно, в действительности такая подготовка, только протекающая за порогом сознания, должна иметь место.

Содержанием этого акта является молниеносное, но охватывающее огромные полосы исторического времени переживание

нерасчленимой ни на какие понятия и невыразимой ни в каких словах с у т и больших исторических феноменов. Формой же такого акта оказывается сверх меры насыщенная динамически-кипящими образами *минута* или *час*, когда личность ощущает себя как тот, кто после долгого пребывания в тихой и темной комнате был бы вдруг поставлен под открытое небо в разгар бури — вызывающей ужас своей грандиозностью и мощью, почти ослепляющей и в то же время переполняющей чувством захватывающего блаженства. О такой полноте жизни, о самой возможности такой полноты, личность раньше не имела никакого представления. Синтетически охватываются одновременно целые эпохи, целый — если можно так выразиться — метаисторический космос этих эпох с великими, борющимися в нем началами. Ошибочно было бы предполагать, что эти образы имеют непременно зрительную форму. Нет, зрительный элемент включается в них, как может быть, и звуковой, но сами они так же относятся к этим элементам, как, например, океан относится к водороду, входящему в состав его воды. Дать представление об этом переживании крайне трудно за отсутствием сколько-нибудь точных аналогий с чем-либо другим, более известным.

Переживание это оказывает потрясающее действие на весь душевный состав. Содержание его столь превосходит все, что находилось раньше в круге сознания личности, что оно будет много лет питать собою душевный мир пережившего. Оно станет его драгоценнейшим внутренним достоянием.

Такова первая стадия метаисторического познания. Мне кажется допустимым назвать ее метаисторическим озарением¹.

Результат озарения продолжает храниться в душевной глубине, храниться не как воспоминание, а как нечто живое и живущее. Оттуда постепенно, годами, поднимаются в круг сознания отдельные образы, идеи, целые концепции, но еще больше остается их в глубине, и переживший знает, что никакая концепция никогда не сможет охватить и исчерпать этого приоткрывшегося ему космоса метаистории. Эти-то образы и идеи становятся объектом в т о р о й стадии процесса.

Вторая стадия не обладает тем моментальным характером, как первая: она представляет собою некоторую цепь состояний — цепь, пронизывающую недели и месяцы и проявляющую

1 Такая характеристика, однако, не должна быть воспринята как попытка предрешить заранее в положительном смысле оценку объективной значимости описанного психологического явления. Об этом речь впереди.

ся почти ежедневно. Это есть внутреннее созерцание, напряженное вживание, сосредоточенное вглядывание — иногда радостное, иногда мучительное — в исторические образы, но не замкнутые в самих себе, а воспринимаемые в их слитности со второй, метаисторической реальностью, за ними стоящей. Выражение «вглядываться» я употребляю здесь условно, а под словом «образы» разумею опять-таки не зрительные представления только, но представления *синтетические*, включающие зрительный элемент лишь постольку, поскольку созерцаемое может вообще иметь зрительно представимый облик. При этом крайне важно то, что содержанием подобного созерцания бывают в значительной мере и явления иномерных слоев материальности; ясно, что воспринимать их могут не физические органы зрения и слуха, но некоторые другие, имеющиеся в составе нашего существа, но обычно отделенные как бы глухою стеной от зоны дневного сознания. И если первая стадия процесса отличалась пассивным состоянием личности, ставшей как бы невольным зрителем ошеломляющего зрелища, то на второй стадии возможно, в известной мере, направляющее действие личной воли, — иногда, например, в выборе того или иного объекта созерцания. Но чаще, и как раз в наиболее плодотворные часы, образы всплывают непроизвольно, излучая, сказал бы я, такую завораживающую силу и приоткрывая такой многогранный смысл, что часы созерцания превращаются в ослабленные подобия минут озарения. При известной творческой предрасположенности субъекта образы эти могут в иных случаях становиться источником или стержнем, осью художественных произведений; и сколь мрачны и суровы ни были бы некоторые из них, но величие этих образов таково, что трудно найти равное тому наслаждение, которое вызывается их созерцанием.

Именно метаисторическим созерцанием можно, мне кажется, назвать эту вторую стадию процесса.

Картина, создающаяся таким образом, подобна полотну, на котором ясны отдельные фигуры и, быть может, их общая композиция, но другие фигуры туманны, а некоторые промежутки между ними ничем не заполнены; иные же участки фона или отдельные аксессуары отсутствуют вовсе. Возникает потребность уяснения неотчетливых связей, наполнения скитающихся пустот. Процесс вступает в третью стадию, наиболее свободную от воздействия внеличных и внерассудочных начал. Ясно поэтому, что именно на третьей стадии совершаются наибольшие

ошибки, неправильные привнесения, слишком субъективные истолкования. Главная помеха заключается в неизбежно искажающем вмешательстве рассудка; вполне отделаться от этого, по-видимому, почти невозможно. Возможно другое: уловив внутреннюю природу метаисторической логики, удастся иной раз перестроить в ее направлении даже работу рассудка.

Эту третью стадию процесса естественно назвать метаисторическим осмыслением.

Таким образом, метаисторическое озарение, метаисторическое созерцание и метаисторическое осмысление можно фиксировать как три стадии того пути познания, о котором идет речь.

Оговорю возможность еще одного рода состояний, представляющих разновидность состояний первой стадии. Это — озарение особого типа, связанное с переживанием метаисторических начал демонической природы; некоторые из них обладают огромною мощью и обширною сферой действия. Это состояние, которое было бы правильно назвать инфрафизическим прорывом психики, крайне мучительно и по большей части насыщено чувством своеобразного ужаса. Но, как и в остальных случаях, за этим состоянием тоже следуют стадии созерцания и осмысления.

Мои книги, написанные или пишущиеся в чисто поэтическом плане, зиждутся на личном опыте метаисторического познания. Концепция, являющаяся каркасом этих книг, выведена целиком из этого опыта. Откуда я взял эти образы? кто и как внушил мне эти идеи? какое право имею я говорить с такой уверенностью? могу ли я дать какие-нибудь гарантии в подлинности своего опыта? — Теперь, здесь, в одной из вступительных частей книги «Роза Мира», я отвечаю на эти вопросы, как могу. В автобиографической конкретизации нет ничего для меня привлекательного, я стараюсь ее свести к минимуму. Но в этот минимум входит, конечно, краткий отчет о том, где, когда и при каких обстоятельствах были пережиты мной часы метаисторического озарения.

Первое событие этого рода, сыгравшее в развитии моего внутреннего мира огромную, во многом даже определяющую роль, произошло в августе 1921 года, когда мне еще не исполнилось пятнадцати лет. Это случилось в Москве, на исходе дня, когда я, очень полюбивший к тому времени бесцельно бродить по улицам и беспредметно мечтать, остановился у парапета в одном из скверов, окружавших Храм Христа Спасителя и приподнятых

над набережной. Московские старожилы еще помнят, какой чудесный вид открывался оттуда на реку, Кремль и Замоскворечье с его десятками колоколен и разноцветных куполов. Был, очевидно, уже седьмой час, и в церквях звонили к вечерне... — Событие, о котором я заговорил, открыло передо мной или, вернее, надо мной такой бушующий, ослепляющий, непостижимый мир, охватывавший историческую действительность России в странном единстве с чем-то неизмеримо большим над ней, что много лет я внутренне питался образами и идеями, постепенно наплывавшими оттуда в круг сознания. Разум очень долго не мог справиться с ними, пробуя создавать новые и новые конструкции, которые должны были сгармонизировать противоречивость этих идей и истолковать эти образы. Процесс слишком быстро вступил в стадию осмысления, почти миновав промежуточную стадию созерцания. Конструкции оказались ошибочными, разум не мог стать вровень со вторгавшимися в него идеями, и потребовалось свыше трех десятилетий, насыщенных дополняющим и углубляющим опытом, чтобы пучина приоткрывшегося в ранней юности была правильно понята и объяснена.

Второе событие этого порядка я пережил весной 1928 года в церкви Покрова в Левшине, впервые оставшись после пасхальной заутрени на раннюю обедню: эта служба, начинающаяся около двух часов ночи, ознаменовывается, как известно, чтением — единственный раз в году — первой главы Евангелия от Иоанна: «В начале бе Слово». Евангелие возглашается всеми участвующими в службе священниками и дьяконами с разных концов церкви, поочередно, стих за стихом, на разных языках — живых и мертвых. Эта ранняя обедня — одна из вершин православного — вообще христианского — вообще мирового богослужения. Если предшествующую ей заутреню можно сравнить с восходом солнца, то эта обедня — настоящий духовный полдень, полнота света и всемирной радости. Внутреннее событие, о котором я говорю, было и по содержанию своему, и по тону совсем иным, чем первое: гораздо более широкое, связанное как бы с панорамой всего человечества и с переживанием Всемирной истории как единого мистического потока, оно, сквозь торжественные движения и звуки совершавшейся передо мной службы, дало мне ощутить тот вышний край, тот небесный мир, в котором вся наша планета предстает великим Храмом и где непрерывно совершается в невообразимом великолепии вечное богослужение просветленного человечества.

В феврале 1932 года, в период моей кратковременной службы на одном из московских заводов, я захворал и ночью, в жару, приобрел некоторый опыт, в котором, конечно, большинство не усмотрит ничего, кроме бреда, но для меня — ужасающий по своему содержанию и безусловный по своей убедительности. Существо, которого касался этот опыт, я обозначал в своих книгах и обозначаю здесь выражением «третий уицраор». Странное, совсем не русское слово «уицраор» не выдумано мною, а вторглось в сознание тогда же. Очень упрощенно смысл этого исполтинского существа, схожего, пожалуй, с чудищами морских глубин, но несравненно превосходящего их размерами, я бы определил как демона великодержавной государственности. Эта ночь оставалась долгое время одним из самых мучительных переживаний, знакомых мне по личному опыту. Думаю, что если принять к употреблению термин «инфрафизические прорывы психики», то к этому переживанию он будет вполне применим.

В ноябре 1933 года я случайно — именно совершенно случайно — зашел в одну церковку во Власьевском переулке. Там застал я акафист преподобному Серафиму Саровскому. Едва я открыл входную дверь, прямо в душу мне хлынула теплая волна нисходящего хорового напева. Мною овладело состояние, о котором мне чрезвычайно трудно говорить, да еще в таком протокольном стиле. Непреодолимая сила заставила меня стать на колени, хотя участвовать в коленопреклонениях я раньше не любил: душевная незрелость побуждала меня раньше подозревать, что в этом движении заключено нечто рабское. Но теперь коленопреклонения оказалось недостаточно. И когда мои руки легли на ветхий, тысячами ног истоптанный коврик, распахнулась какая-то тайная дверь души, и слезы ни с чем не сравнимого блаженного восторга хлынули неудержимо. И, по правде сказать, мне не очень важно, как знатоки всякого рода экстазов и восхищений назовут и в какой разряд отнесут происшедшее вслед за этим. Содержанием же этих минут был подъем в Небесную Россию, переживание Синклита ее просветленных, нездешняя теплота духовных потоков, льющихся из того средоточия, которое справедливо и точно именовать Небесным Кремлем. Великий дух, когда-то прошедший по нашей земле в облике Серафима Саровского, а теперь — один из ярчайших светильников Русского Синклита, приблизился и склонился ко мне, укрыв меня, словно эпитрахилью, шатром струящихся лучей света и ласкового тепла. — В продолжение почти целого года, пока эту церковку не за-

крыли, я ходил каждый понедельник к акафистам преподобному Серафиму — и — удивительно! — переживал это состояние каждый раз, снова и снова, с неослабевающей силой.

В начале 1943 года я участвовал в переходе 196-й стрелковой дивизии по льду Ладожского озера и, после двухдневного пути через Карельский перешеек, вошел поздно вечером в осажденный Ленинград. Во время пути по безлюдному, темному городу к месту дислокации мною было пережито состояние, отчасти напоминавшее то давнишнее, юношеское, у храма Спасителя, по своему содержанию, но окрашенное совсем не так: как бы ворвавшись сквозь специфическую обстановку фронтовой ночи, сперва просвечивая сквозь нее, а потом поглотив ее в себе, оно было окрашено сурово и сумрачно. Внутри него темнело и сверкало противостояние непримиримейших начал, а их ошеломляющие масштабы и зиявшая за одним из них великая демоническая сущность внушали трепет ужаса. Я увидел третьего лица яснее, чем когда-либо до того, — и только веющее блистание от приближавшегося его врага — нашей надежды, нашей радости, нашего защитника, великого духа-народоводителя нашей родины — уберегло мой разум от непоправимого надлома¹.

Наконец, нечто схожее, но уже полностью свободное от метафизического ужаса, было мною пережито в сентябре 1949 года во Владимире, опять-таки ночью, в маленькой тюремной камере, когда мои единственный товарищ спал, и несколько раз позднее, в 1950–53 годах, тоже по ночам, в общей тюремной камере. Для «Розы Мира» недостаточно было опыта, приобретенного на таком пути познания. Но самое движение по этому пути привело меня к тому, что порою я оказывался способным сознательно воспринять воздействие некоторых Провиденциальных сил, и часы этих духовных встреч сделались более совершенной формой метаисторического познания, чем та, которая мною только что описана.

Сравнительно часто и многими изведен выход эфирного тела из физического вместилища, когда это последнее покоится в

¹ Это переживание я попытался выразить в поэме «Ленинградский апокалипсис», но закономерности искусства потребовали как бы рассучить на отдельные нити ткань этого переживания. Противостоявшие друг другу образы, явившиеся одновременно, пришлось изобразить во временной последовательности, а в общую картину внести ряд элементов, которые хотя этому переживанию и не противоречат, но в действительности в нем отсутствовали. К числу таких производительных привнесений относится падение бомбы в Инженерный замок (при падении этой бомбы я не присутствовал), а также контузия героя поэмы.

глубоком сне, и странствие по иным слоям планетарного космоса. Но, возвращаясь к дневному сознанию, путник не сохраняет о виденном никаких отчетливых воспоминаний. Хранятся они только в глубинной памяти, наглухо отделенной от сознания у огромного большинства. Глубинная память (анатомически ее центр помещается в мозгу) — это хранилище воспоминаний о предсуществовании души, а также о ее трансфизических странствиях, подобных описываемому. Психологический климат некоторых культур и многовековая религиозно-физиологическая практика, направленная в эту сторону, как, например, в Индии и странах буддизма, способствовали тому, что преграда между глубинной памятью и сознанием ослабела. Если отрешиться от дешевого скепсиса, нельзя не обратить внимание на то, что именно в этих странах часто можно услышать, даже от совсем простых людей, утверждения о том, что область предсуществования не является для их сознания закрытой совершенно. В Европе, воспитывавшейся сперва на христианстве, оставлявшем эту проблему в стороне, а потом на безрелигиозной науке, ослаблению преграды между глубинной памятью и сознанием не способствовало ничто, кроме индивидуальных усилий редких единиц.

Я должен сказать совершенно прямо, что лично мною не было проявлено даже и этих усилий, по той простой причине, что я не знал, как к этому подойти, а руководителей у меня не было. Но было зато нечто иное, чем я обязан, вероятно, усилиям невидимых осуществителей Провиденциальной воли, а именно — некоторая приоткрытость, как бы на узенькую щелку, двери между глубинной памятью и сознанием. Сколь бы неуверительно ни прозвучало это для подавляющего большинства, но я не намерен скрывать того факта, что слабые, отрывочные, но для меня неоспоримо достоверные проблески из глубинной памяти сказывались в моей жизни с детских лет, усилились в молодости и, наконец, на сорок седьмом году жизни стали озарять дни моего существования новым светом. Это не значит, будто бы совершилось полное раскрытие органа глубинной памяти, — до этого еще далеко, но значительность образов, оттуда подающихся, стала для меня столь осязательно ясна, а образы эти временами столь отчетливы, что качественное, принципиальное отличие их от обычных воспоминаний, а также от работы воображения становится несомненным.

Как могу я не поклониться с благодарностью перед судьбой, приведшей меня на целое десятилетие в те условия, которые

проклинаются почти всеми, их испытывшими, и которые были не вполне легки и для меня, но которые, вместе с тем, послужили могучим средством к приоткрытию духовных органов моего существа? Именно в тюрьме, с ее изоляцией от внешнего мира, с ее неограниченным досугом, с ее полутора тысячею ночей, проведенных мною в бодрствовании, лежа на койке, среди спящих товарищей, — именно в тюрьме начался для меня новый этап метаисторического и трансфизического познания. Часы метаисторического озарения участились. Длинные ряды ночей превратились в сплошное созерцание и осмысление. Глубинная память стала посылать в сознание все более и более отчетливые образы, озарявшие новым смыслом и события моей личной жизни, и события истории и современности. И, наконец, пробуждаясь утром после короткого, но глубокого сна, я знал, что сегодня сон был наполнен не сновидениями, но совсем другим: трансфизическими странствиями.

Если подобные странствия совершаются по демоническим слоям и притом без вожатого, а под влиянием темных устремлений собственной души или по предательскому призыву демонических начал, человек, пробуждаясь, не помнит отчетливо ничего, но выносит из странствия влекущее, соблазнительное, сладостно-жуткое ощущение. Из этого ощущения, как из ядовитого семени, могут вырасти потом такие деяния, которые надолго привяжут душу, в ее посмертии, к этим мирам. Такие блуждания случались со мною в юности, такие деяния влекли они за собой, и не моя заслуга в том, что дальнейший излучистый путь моей жизни на земле уводил меня все дальше и дальше от этих срывов в бездну.

Если же спуск совершается с вожатым — одним из братьев Синклита страны или Синклита Мира, если он имеет провиденциальный смысл и назначение, то путник, пробуждаясь и испытывая иногда то же сладостно-жуткое, искушающее чувство, в то же время *осознает его соблазн*; мало того: в его воспоминаниях обретается этому соблазну противовес: это — понимание грозного смысла существования этих миров и их подлинного лица, а не личины. Он не пытается вернуться в эти нижние слои посредством *этического падения в плане своего бодственного бытия*, но делает приобретенный опыт объектом религиозного, философского и мистического осмысления или даже материалом своих художественных созданий, имеющих наряду с другими значениями неременный предупреждающий смысл.

На сорок седьмом году жизни я вспомнил и понял некоторые из своих трансфизических странствий, совершенных ранее; до этого времени воспоминания о них носили характер смутных, клочкообразных, ни в какое целое не слагавшихся хаотических полубразов. Новые же странствия зачастую оставались в памяти так отчетливо, так достоверно, так волнуя все существо ощущением приоткрывшихся тайн, как не остается в памяти никакое сновидение, даже самое значительное.

Есть еще более совершенный вид таких странствий по планетарному космосу: тот же выход эфирного тела, те же странствия с великим вожатым по слоям восходящего или нисходящего ряда, но с полным сохранением бодрственного сознания. Тогда, вернувшись, путник приносит воспоминания еще более бесспорные и, так сказать, исчерпывающие. Это возможно только в том случае, если духовные органы чувств уже широко раскрыты и запоры с глубинной памяти сорваны навсегда. Это уже подлинное духовидение. И этого, конечно, я не испытал.

Насколько мне известно (возможно, впрочем, что я ошибаюсь), из европейских писателей этому был причастен пока один только Дант. Создание «Божественной комедии» было его миссией. Но полное раскрытие его духовных органов совершилось только в конце жизни, когда огромная работа над поэмой уже близилась к концу. Он понял многочисленные ошибки, неточности, снижение смысла, излишнюю антропоморфность образов, но для исправления уже не хватало времени и сил. Тем не менее излагаемая им система может быть принята в основных чертах, как панорама разноматериальных слоев романо-католической метакультуры.

Не смея и заикаться о чем-либо подобном, я имел, однако, великое счастье бесед с некоторыми из давно ушедших от нас и ныне пребывающих в Синклите России. К совершенно потрясающим переживаниям их реальной близости я почти не смею прикоснуться пером. Не смею назвать и имена их, но близость каждого из них окрашивалась в неповторимо индивидуальный тон чувств. Встречи случались и днем, в людной тюремной камере, и мне приходилось ложиться на койку, лицом к стене, чтобы скрыть поток слез захватывающего счастья. Близость одного из великих братьев вызывала усиленное биение сердца и трепет торжественного благоговения. Другого все мое существо приветствовало теплой, нежной любовью, как драгоценного друга, видящего насквозь мою душу и любящего ее

и несущего мне прощение и утешение. Приближение третьего вызывало потребность склонить перед ним колена, как перед могучим, несравненно выше меня взошедшим, и близость его сопровождалась строгим чувством и необычайной обостренностью внимания. Наконец, приближение четвертого вызывало ощущение ликующей радости — мировой радости — и слезы восторга. Во многом могу усомниться, ко многому во внутренней жизни отнестись с подозрением в его подлинности, но не к этим встречам.

Видел ли я их самих во время этих встреч? Нет. Разговаривали ли они со мной? Да. Слышал ли я их слова? И да, и нет. Я слышал, но не физическим слухом. Как будто они говорили откуда-то из глубины моего сердца. Многие слова их, особенно новые для меня названия различных слоев Шаданакара и иерархий, я повторял перед ними, стараясь наиболее близко передать их звуками физической речи, и спрашивал: правильно ли? Некоторые из названий и имен приходилось уточнять по несколько раз; есть и такие, более или менее точного отображения которых в наших звуках найти не удалось. Многие из этих нездешних слов, произнесенных великими братьями, сопровождалась явлениями световыми, но это не был физический свет, хотя их и можно сравнить в одних случаях со вспышками молнии, в других — с заревами, в третьих — с лунным сиянием. Иногда это были уже совсем не слова в нашем смысле, а как бы целые аккорды фонетических созвучий и значений. Такие слова перевести на наш язык было нельзя совсем, приходилось брать из всех значений — одно, из всех согласованно звучащих слогов — один. Но беседы заключались не в отдельных словах, а в вопросах и ответах, в целых фразах, выражавших весьма сложные идеи. Такие фразы, не расчлняясь на слова, как бы вспыхивали, отпечатываясь на сером листе моего сознания, и озаряли необычайным светом то темное для меня и неясное, чего касался мой вопрос. Скорее даже это были не фразы, а чистые мысли, передававшиеся мне непосредственно, помимо слов.

Так, путь метаисторических озарений, созерцаний и осмыслений был дополнен трансфизическими странствиями, встречами и беседами.

Дух нашего века не замедлит с вопросом: «Пусть то, что автор называет опытом, достоверно для пережившего субъекта. Но может ли оно иметь бóльшую объективную значимость, чем „опыт“ обитателя лечебницы для душевнобольных? Где гарантии?»

Но странно: разве ко всем явлениям духовной жизни, ко всем явлениям культуры мы подходим с требованием гарантий? а если не ко всем, то почему именно к этим? Ведь мы не требуем от художника или композитора гарантий «достоверности» их музыкальных наитий и живописных видений. Нет гарантий и в передаче религиозного и, в частности, метаисторического опыта. Без всяких гарантий опыту другого поверит тот, чей душевный строй хотя бы отчасти ему созвучен; не поверит и потребует гарантий, а если получит гарантии — все равно их не примет тот, кому этот строй чужд. На обязанности принятия своих свидетельств настаивает только наука, забывая при этом, как часто ее выводы сегодняшнего дня опрокидывались выводами следующего. Чужды обязательности, внутренне беспредельно свободны другие области человеческого духа: искусство, религия, метаистория.

Впрочем, смешивать эти области между собой, полагать, например, будто метаисторическая форма познания является какою-то оригинальной и редкой разновидностью художественного творчества, — было бы самой примитивной ошибкой. На некоторых стадиях они могут соприкоснуться, да. Но возможен метаисторический познавательный процесс, начисто свободный от элементов художественного творчества, а процессы художественного творчества, не имеющие никакого отношения к метаистории, — воистину бесчисленны.

Но и в области религий — до сих пор лишь немногочисленные разновидности их действительно обогащены метаисторическим познанием. Интересно отметить, что в русском языке слово «откровение» в буквальном смысле равнозначное греческому «апокалипсис», не помешайте, однако, этому последнему прочно обосноваться на русской почве. При этом за каждым из двух слов закрепился особый оттенок смысла. Значение слова «откровение» более общё: если не замыкаться в узко-конфессиональные рамки, придется включить в число исторических случаев откровения и такие события, как видения и восхীщения Мухаммеда и даже озарение Гаутамы Будды. Апокалипсис же — только один из видов откровения: откровение не областей универсальной гармонии, не сферы абсолютной полноты, даже не круга звездных или иных космических иерархий; это — откровение о судьбах народов, царств, церквей, культур, человечества, и о тех иерархиях, кои в этих судьбах проявляют себя наиболее действенно и непосредственно: откровение метаистории. Апокалипсис не так

универсален, как откровение вселенское, он *иерархически ниже*, он — о более частом, о расположенном ближе к нам. Но именно вследствие этого он отвечает на жгучие запросы судьбы, брошенной в горнило исторических катаклизмов. Он заполняет разрыв между постижением универсальной гармонии и диссонансами исторического и личного бытия.

Как известно, богаты таким откровением были лишь немногие народы и в немногие века: апокалиптика возникла среди еврейства, по-видимому, около VI века до Р. Х., захватила раннее христианство и дольше всего держалась в средневековом иудействе, питаясь жгучей атмосферой его мессианизма.

В христианстве же, в частности в восточном, апокалиптическая форма познания почти совершенно утратилась еще в начале средних веков, внезапно вспыхнув тусклым, мечущимся, чадающим пламенем в первое столетие великого русского раскола. Здесь неуместно вдаваться в анализ сложных и многочисленных причин этого ущерба, но невозможно не отметить его связь с тем антиисторизмом религиозного сознания и мира религиозных чувств, который останавливает наше внимание еще у византийских отцов церкви и прямо-таки поражает у представителей русского православия, даже у крупнейших, у таких, в праведности и в наивысшем духовном опыте которых не может быть сомнения. Антиисторизм становится словно обязательным каноном религиозной мысли. Поучительно вспомнить о нерешенных конфликтах между официальным антиисторизмом русского церковного миропонимания и врожденной, иррациональной тягой к апокалиптической форме познания, к метаистории, в духовных и творческих биографиях светских православных писателей и мыслителей: Гоголя, Хомякова, Леонтьева, Достоевского, Владимира Соловьева, Сергея Булгакова.

Но утешение в том, что прикосновение к метаистории может осуществляться и совсем иначе, чем это было разобрано здесь. Об этом свидетельствует тот *элемент метаисторического опыта*, который можно обнаружить зачастую под огромной толщей антиисторизма — кажущегося или подлинного. Чувство, замечательно переданное Тютчевым, когда личность ощущает себя участницей некоей исторической мистерии, участницей в творчестве и борьбе великих духовных — лучше сказать трансфизических — сил, мощно проявляющихся в роковые минуты истории; разве, не обладая этим чувством, могла бы совершить свой

подвиг Жанна д'Арк? Разве мог бы св. Сергей Радонежский — по всему остальному своему мироощущению настоящий анахорет и аскет — принять столь решительное, даже руководящее участие в политических бурях своего времени? Могли ли бы без этого чувства значительнейшие из пап век за веком пытаться осуществить идею всемирной иерократии, а Лойола — создать организацию, сознательно стремящуюся овладеть механизмом исторического становления человечества? Мог ли бы Гегель без этого чувства, одной работой разума, создать «Философию истории», а Гёте — II часть «Фауста»? Разве мыслимо было бы самосожжение раскольников, если бы ледяной ветер эсхатологического, метаисторического ужаса не остудил в них всякую привязанность к миру сему, уже подпавшему, как им казалось, власти антихриста? Смутное метаисторическое чувство, не просветленное созерцанием и осмыслением, часто приводит к искаженным концепциям, к хаотическим деяниям. Не ощущаем ли мы некий метаисторический пафос в выпренних тирадах вождей Французской революции, в доктринах утопического социализма, в культе Человечества Огюста Конта или в призывах ко всемирному обновлению путем разрушения всех устоев — призывах, принимающих в устах Бакунина тот оттенок, который заставляет вспоминать страстные воззвания иудейских пророков, хотя оратор XIX века вкладывает в эти воззвания новый, даже противоположный мироощущению древних пророков, смысл? Подобных вопросов можно было бы задавать еще сотни. Непременные же ответы на них приведут к двум важным выводам. Во-первых, станет ясно, что в общем объеме как западной, так и русской культуры подспудный слой апокалиптических переживаний можно обнаружить в неисчислимом количестве явлений, даже чуждых ему на первый взгляд. А во-вторых — что метаисторическое чувство, метаисторический опыт, неосознанный, смутный, сумбурный, противоречивый, вплетается то и дело в творческий процесс: и художественный, и религиозный, и социальный, и даже политический.

Говоря о метаисторическом методе познания, я незаметно перешел к трансфизическому: странствия и встречи, рассказанные мною, отчасти относятся уже к областям трансфизического познания. Ведь я говорил уже, что далеко не всегда можно четко классифицировать эти явления; этого не нужно было бы вовсе, если бы не хотелось внести некоторую ясность в сложный и малоисследованный ряд проблем.

Может быть, некоторые выскажут удивление: почему вместо общепонятного слова «духовный» я так часто употребляю термин «трансфизический». Но слово «духовный» в его строгом смысле закономерно относить только к Богу и к монадам. Термин же «трансфизический» применяется ко всему, что обладает материальностью, но иной, чем наша, ко всем мирам, существующим в пространствах с другим числом координат и в других потоках времени. Под трансфизикой (в смысле объекта познания) я понимаю всю совокупность таких миров вне зависимости от процессов, там протекающих. Такие процессы, связанные со становлением Шаданакара, составляют метаисторию; связанные со становлением Вселенной — метаэволюцию; познание метаэволюции есть познание *вселенской*. Слово же «трансфизика» в смысле религиозного учения означает учение о структуре Шаданакара. Объекты метаисторического познания связаны с историей и культурой, трансфизического — с природой нашего слоя и других слоев Шаданакара, а вселенского — со Вселенной. Таким образом, те явления, которые я назвал трансфизическими странствиями и встречами, могут быть, в зависимости от своего содержания, отнесены либо к метаисторическому роду познания, либо к трансфизическому, либо ко вселенскому.

После этой небольшой оговорки ничто уже не препятствует перейти к рассмотрению двух остальных родов религиозного познания, — но, разумеется, только в тех их вариантах, которые знакомы лично мне.

Глава 2

НЕМНОГО О ТРАНСФИЗИЧЕСКОМ МЕТОДЕ

Казалось бы, отношение людей к природе бесконечно разнообразно, индивидуально, а иногда и внутренне антиномично. Но если проследить эволюцию этого отношения во всеобщей истории культуры от изобретения письменности до наших дней, можно обнаружить несколько типов его, лучше сказать — фаз. Я позволю себе здесь весьма упрощенно, в самых общих чертах, наметить три-четыре очень важные фазы так, как они мне представляются. Это не подлинная картина того, как это отношение изменялось в культурах и веках, а лишь несколько грубых мазков, назначение которых скорее в том, чтобы ввести читателя внутрь проблемы, нежели в создании у него исторической перспективы по этому вопросу.

Наиболее ранняя фаза характеризуется тем, что космос кажется крайне миниатюрным, а Земля — единственным обитаемым миром. Зато этот мир, кроме нашего физического слоя, обладает рядом других слоев, тоже материальных, но их материальность — другой природы и других свойств, чем наша; первое приближение к трансфизической действительности Шаданакара. Все эти слои, равно как и наш, лишены развития. Они сотворены раз и навсегда и обитаемы добрыми и злыми существами. Для этих существ человек — центр их интересов и, так сказать, яблоко раздора. Сам же человек не осознает Природу как нечто вне его лежащее и не противопоставляет себя ей. Отдельные проявления Природы возбуждают, конечно, те или иные чувства — страх, удовольствие, благоговение, но Природа как целое, по-видимому, почти не воспринимается или воспринимается в чисто эстетическом плане, да и то лишь отдельными людьми, высоко одаренными художественным чувством. Поэтому редко можно найти среди памятников искусства этих эпох лирику природы и еще реже — пейзажную живопись. К этой фазе относятся, в основном, культуры древности, а также некоторые более поздние культурные формы Востока. В религиозном отношении для первой фазы характерен политеизм.

Для второй фазы типичны те монотеистические системы, которые или игнорируют Природу, не проявляя к ней интереса, или враждебны ей. Рост личности приводит к представлению, что человек может совершенствоваться. Природа же не подает признаков развития, она косна и статична, она неморальна и неразумна, она во власти демонических сил, и та часть человеческого существа, которая единосущна Природе, требует либо порабощения ее духом, либо поработает его сама. Это — фаза *природоборческая*. Ее прошли и христианские, и буддийские, и индуистские народы; на ней остановилось (пока совпадало со своей национальной религией) еврейство. Последнее однако, равно как и народы ислама, не столько стремилось к борьбе с Природой, сколько проходило мимо нее. Семитическое чувство Природы вообще отличалось скудостью. Давно уже отмечено, как бедны были этим чувством авторы библейских книг и Корана сравнительно с теми, кто создавал великие эпопеи Эллады и, особенно, Индии. Семиты отдавали Природе неизбежную дань, осеняя религиозной санкцией воспроизведение рода, но в своей духовной философии и искусстве стремились игнорировать ее с многозначительной последовательностью. Они сделали у себя

фактически невозможной скульптуру и портретную живопись, потому что боялись обожествить человека и ненавидели обожествление стихии. Как и другие элементы семитизма, эта природоборческая тенденция перешла с христианством в Европу, подавила природные культы германского и славянского язычества и господствовала до конца средних веков. Но и Востоку пришлось пройти через эту фазу, хотя и окрасив ее по-своему. Аскетичность крайних проявлений брахманизма, борьба буддизма за высвобождение человеческого Я из-под власти Природы — все это слишком общеизвестно, чтобы на нем останавливаться. Таким образом, если в первой фазе Природа как целое почти не осознавалась, а поэтизировалась и боготворилась в отдельных своих проявлениях, то во второй она была осознана как начало враждебное, покорное демоническим силам.

Третья фаза связана с эрой господства науки и с оскудением мира религиозных чувств. Унаследовав от христианства природоборческое начало, человек третьей фазы освобождает его от религиозного смысла, отказывается от преодоления природных элементов в собственном существе и обосновывает к природе строго утилитарный подход. Природа есть объект разумного (научного) исследования, во-первых; она есть сонмище бездушных сил, которое надо покорить на потребу человека, — во-вторых. Физический кругозор неизмеримо расширяется; знание структуры и законов нашего слоя достигает головокружительной глубины; в этом — ценность третьей фазы. Но напрасно толкуют о любви к природе естествоиспытателей. Интеллектуальную любовь можно испытывать только к продукции интеллекта: можно умом любить идею, мысль, теорию, научную дисциплину. Так можно любить физиологию, микробиологию, даже паразитологию, но не лимфу, не бактерии и не блох. Любовь к природе может быть явлением физиологического порядка, может быть явлением порядка эстетического, наконец — порядка этического и религиозного. Явлением только одного порядка она не может быть: интеллектуального. Если отдельные специалисты-естествоиспытатели и любят природу, то это чувство не имеет никакой связи ни с их специальностью, ни вообще с научной методикой познания Природы: это чувство или физиологического, или эстетического порядка.

Однако наибольшего противопоставления себя Природе цивилизованное (по крайней мере, западное) человечество достигло не в XX веке, как это могло бы показаться, но в XVII,

XVIII и начале XIX века. Никогда моды не были так искусственны, как во времена пудренных париков. Никогда близлежащие к человеку участки Природы не уродовались так рассудочно и противоестественно, как в эпоху Версальского парка. Аристократа времен Людовиков так же немислимо вообразить берущим солнечную ванну или гуляющим босиком, как нельзя представить себе спартанку времен греко-персидских войн — в корсете и в ботинках на высоких каблуках. Во всем этом проявлялось отношение к Природе, генетически коренившееся в христианском аскетизме, но в ходе развития заменившее духовный снобизм — снобизмом цивилизации, религиозную гордыню — гордыней рассудка, а ко всему, печатью рассудочности не отмеченному, не испытывавшее ничего, кроме насмешливого презрения.

Философия Руссо знаменует собою поворотный пункт. Но должно было протечь полтора столетия, мир должен был вступить в эпоху городов-гигантов, чтобы тоска по Природе стала понятна человеческому большинству. Поэты Озёрной школы в Англии, Гёте и романтики в Германии, Пушкин и в особенности Лермонтов в России любили Природу высокой эстетической, а некоторые и пантеистической любовью. Возникла Барбизонская школа живописи, и к концу XIX века эстетическая любовь завоевала незыблемое право на бытие в культуре; в XX веке развилась и любовь физиологическая. Зрительное созерцание Природы стало уже недостаточным: появилась потребность ощущать стихии осязательно и моторно, всей поверхностью тела и движением мускулов. Этой потребности отвечали отчасти туризм и спорт; и, наконец, в I половине нашего столетия пляж, с его физиологическим растворением человека в солнечном свете, тепле, воде, игре, плотно и прочно вошел в повседневную жизнь. Тот самый пляж, который во времена Ронсара или Ватто показался бы непристойной выходкой сумасшедших, а в средние века был бы приравнен к шабашам ведьм на Лысой горе и, пожалуй, к черной мессе. Если вообразить Торквемаду, внезапно перенесенного в качестве зрителя на пляж в Остенде или в Ялте, вряд ли можно усомниться в том, что мысль о немедленном аутодафе из тысяч этих бесстыдных еретиков сразу возникла бы в голове этого охранителя душ человеческих.

Может быть, ничто так наглядно не иллюстрирует уменьшение пропасти между человеком и стихиями за последний век, как эволюция одежды. Пальто и головные уборы, неотступно сопровождавшие «образованного» человека даже в летний пол-

день, стали употребляться лишь в меру климатической необходимости. 50 лет назад казалось неприличным выйти из дому без перчаток; теперь ими пользуются только в холода. Вместо сюртуков и крахмальных манишек, в которых бонтонно прели наши деды даже при тридцатиградусной жаре, жизнь стала завоевываться безрукавками с открытым воротом. Ноги, изнывавшие в высоких ботинках, почувствовали прелесть тапочек и босоножек. Женщины освободились от кошмара корсетов, летом вошли в обиход укороченные снизу и открытые сверху платья, а платья длинные уцелели только в качестве вечерних туалетов. Дети, чьи прадеды в соответствующем возрасте чинно расхаживали даже в июле в гимназических куртках и с фуражкой на голове, бегают босиком, в одних трусах, до черноты зацелованные солнцем. Человек мирового города, отдалившийся от Природы на такое расстояние, как еще никогда, затосковал об ее «жарких объятиях» и возвращается к ней, еще почти бессознательно, инстинктивной телесной любовью, но в накопленном историческом опыте своей души неся семена нового, совершеннейшего отношения к Природе. Такова четвертая фаза.

Итак, четыре фазы: языческая, аскетическая, научно-утилитарная и инстинктивно-физиологическая.

Резюмировать можно так. Ко 2-й половине нашего века в образованных и полубразованных слоях нации, принадлежащих к романо-католической, германо-протестантской и российской культурным зонам, установилось два отношения к природе, пока друг другу почти не противоречащие. Одно — старое: утилитарно-хозяйственно-научное, совершенно чуждое любви. Оно сосредоточило взор на использовании заключенных в Природе ресурсов энергии и измеряет все критерием материальной выгоды для человечества или, что еще хуже, для некоторых из антагонистических его частей; с этой точки зрения оно одобряет также спорт, пляж, туризм. Сторонники этого отношения из интереса к тому, «как это устроено?», спокойно потрошат заживо кошек и собак, а для удовлетворения атавистического охотничьего инстинкта подкарауливают зайцев и куропаток. Может быть, в первом случае имеется в виду и любовь к человечеству: ибо из Монбланов собачьих трупов извлекают, наконец, крупицу познания, например условных рефлексов; этим, как известно, просвещается алчущий ум и двигается вперед медицина. Но любви к Природе здесь нет и тени. Больше того: такое отношение к Природе аморально, потому что никакие интересы живых существ, кроме

человека, не принимаются во внимание, и потому, что на всю Природу устанавливается взгляд, как на дойную корову. К счастью, такое отношение начинает смягчаться более новым: бессознательно-эгоистически-физиологической любовью к Природе, иногда осложненной привнесением эстетики.

Но это развитие еще не привело к осознанию того, что возможно и необходимо, сохраняя старые оттенки любви к природе, за исключением, конечно, аморально-утилитарного отношения к ней, безмерно обогатить это отношение смыслом этическим и религиозным. Не пантеистическим, когда человек только смутно ощущал присутствие в Природе некоей безличной, равномерно разлитой божественной силы, — нет. Это уже было, и первобытный праанимизм — доказательство того, что пантеистическое чувство цивилизованных людей есть не что иное, как трансформация древнейшего переживания арунгвильты-праны. Нет! Перед нами — иное. Перед нами — отношение несравненно более нравственное и сознательное, более четкое, развитое и изощренное, более жизнерадостное, более активное. Оно может быть основано только на том опыте, когда человек непосредственно ощущает сквозь Природу богатейшие и многообразнейшие миры стихий. Ощущает — то есть вступает в общение, все яснее понимая возможности счастливой и творческой с ними дружбы, прекрасного перед ними нашего долга и горькой, старинной нашей вины.

Правда, неясное чувство вины перед Природой, в особенности перед животными, стало сказываться. Возникли общества охраны животных, любовь к ним стала поощряться даже школьной педагогикой, а охрану зеленых насаждений взял на себя такой прославленный источник любви, как государство. К сожалению, исходило оно при этом только из соображении хозяйственной пользы, а что касается охраны животных, то благодетели получили от ученых-естественников жестокий урок: после горячих дискуссий вивисекция явочным порядком заняла в науке место одного из ведущих методов. Оправдывая себя пользой для человечества, этот позор человечества накрепко обосновался в университетах, лабораториях и даже в той самой средней школе, которая учит ребят любить кошечек и собачек.

Каково же отношение к Природе со стороны того мирозерцания, которое может лечь в основу учения Розы Мира?

Вопрос очень обширный; однако нетрудно, мне кажется, заключить, в чем будет состоять главная особенность этого отно-

шения. Ведь восприятие Розы Мира отличается прежде всего *ощущением прозрачности физического слоя*, переживанием просвечивающих сквозь него слоев трансфизики, горячей любовью к этому переживанию и его старательное выпестывание. Это ощущение охватывает сферу культуры и истории — и отливается в учение метаисторическое; оно обращается к Солнцу, Луне, звездному небу — и делается основой учения вселенского, то есть метаэволюционного; оно охватывает земную природу — и находит свое выражение в учении о стихиях. Учение же о стихиях оказывается ветвью более общего учения о структуре Шаданакара — учения трансфизического.

Сколь ни были бы замутнены древние представления о стихиях (духах стихий в самом широком смысле) побочными примесями, внесенными ограниченностью человеческого воображения и ума, сколько бы aberrаций ни искажало в пантеонах политеистических религий образы природных божеств — в самой основе этих вер лежит истина.

Но, конечно, нам предстоит постигать и почитать миры стихий уже совсем иначе, чем удавалось это народам древности. Опыт последующих стадий обогатил нас, расширил знания и обострил мистическую мысль.

Главные отличия нашей веры в стихии от веры древних вот в чем.

Древние антропоморфизировали свои представления о стихийных божествах; мы больше не ощущаем потребности придавать стихиям человекоподобный образ.

Древние смотрели на эти миры как на нечто, раз навсегда данное и неизменное; мы отдаем себе отчет в факте их эволюции, хотя и непохожей на эволюцию нашего органического мира, и будем стремиться постичь ее пути.

Древние могли переживать связь с отдельными слоями стихий, но неотчетливо разграничивали их друг от друга, а о путях становления этих монад у них не возникло даже догадок. Собственно говоря, они не обладали ясным представлением о множественности этих слоев. Для нас же множественность и взаимосвязь этих слоев и пути становления обитающих там монад делаются объектом трансфизического познания.

Древние были не в состоянии нарисовать себе общую картину планетарного космоса; мы гораздо четче дифференцируем каждый слой и включаем его со всеми его специфическими особенностями в общую панораму Шаданакара.

Древние не могли примирить веру в эти миры с верой в Единого; для нас — между обеими этими верами нет никакого противоречия.

И надо добавить еще, что свои духовные обязанности по отношению к стихиям древние видели в умилощении их и восхвалении — и только; мы же будем стремиться осуществлять нашу связь с ними в готовности участвовать в их играх и творчестве, в привлечении их благодетельствующего участия в нашу жизнь — возможные пути к этому будут показаны в соответствующих главах — и, наконец, в нашей собственной помощи светлым стихиям и в работе над просветлением темных.

Такое отношение к Природе сочетает языческую жизнерадостность, монотеистическую одухотворенность и широту знаний научной эры, все эти элементы претворяя в высшее единство собственным духовным опытом рождающейся религии итога.

Распространено заблуждение, будто бы всякое религиозное мировоззрение враждебно жизни, подменяя все ценности нашего мира ценностями миров иных. Такое обобщение не более законно, чем, например, утверждение, будто бы искусство живописи уводит от мира, сделанное на том основании, что такова была отчасти живопись средних веков. Враждебно жизни религиозное кредо определенной фазы, да и то лишь в крайних его проявлениях. То же мироотношение, о котором я говорю, не уводит от мира, а учит любить его горячей и бескорыстной любовью. Оно не противопоставляет «миры иные» миру сему, но все их воспринимает, как великолепное целое, как ожерелье на груди Божества. Разве хрустальная лампада меньше нравится нам оттого, что она прозрачна? Разве мы будем меньше любить наш мир оттого, что сквозь него просвечивают другие? Для человека, чувствующего так, и эта жизнь хороша, и смерть может быть не врагом, а добрым вожатым, если достойно прожитая жизнь на земле предопределяет переход в иные — не менее, а еще более насыщенные, богатые и прекрасные формы миров.

Но через что же, какими путями достигается человеком это сквозящее мировосприятие? Приходит ли оно независимо от наших усилий воли, как счастливый дар судьбы, или может быть нами сознательно воспитано в самих себе и в целых поколениях?

Пока объединенные усилия множества людей еще не направлены на такое воспитание, до тех пор радость сквозящего мировосприятия остается, действительно, милостью Божией и для получения ее мы почти не затрачиваем сил. Долгим трудом толь-

ко наших невидимых друзей сердца, носителей Провиденциальной воли, раскрываются в ком-нибудь из нас органы такого восприятия, а чаще, гораздо чаще приоткрываются на узкую, то и дело снова притворяющуюся щель. Но и такой приоткрытости достаточно, чтобы уже началось *сквозжение физического мира* и чтобы осчастливленный им стал похож на прозревающего слепого.

Вызвать этот процесс совершенно произвольно — в себе или в другом — вряд ли возможно, по крайней мере теперь. Но можно работать в этом направлении так, чтобы в каждом из нас или наших детей этот труд шел навстречу труду Провиденциальных сил; чтобы в психофизических пластах как бы прорывался туннель одновременно с двух сторон: нами — и друзьями нашего сердца.

Колоссальная задача такой педагогики сейчас может быть только предсказана как одна из задач будущей культурной эры. Требуется еще огромная предварительная работа по изучению и систематизации опыта. На этом я подробнее остановлюсь в одной из последних частей книги. Сейчас же сообщу лишь несколько необходимых сведений о двух-трех возможных вариантах этой методики. Варианты эти и многие другие, здесь не оговоренные, могут, разумеется, быть совмещены и помогать один другому.

Есть одно предварительное условие: без него никакие усилия в этом направлении ни к чему бы не привели. Это — собственная готовность человека добиваться сквозжения ему того хрустального сосуда, который мы называем Природой. Значит, процесс этот доступен либо для тех, кто сам допускает возможность существования миров стихий (без этого можно желать не сквозжения физического слоя, а только, наоборот, чтобы из этого ничего не вышло, дабы мой научный скепсис восторжествовал), либо для детей, если это доверие к стихиям и любовь к Природе с ранних лет укрепляются старшими. Естественно, что тот, кто заранее отрицает бытие этих миров, тот и сам не станет тратить время и силы на подобные опыты. И если бы даже, в качестве эксперимента, он вздумал сделать несколько усилий, он бы ничего не достиг, потому что его собственное недоверие постоянно распространялось бы на полученные результаты, он приписывал бы эти результаты самовнушению или чему-нибудь в этом роде. Шаг вперед — шаг назад. Толчея на месте.

Итак, если требуемое внутреннее условие налицо, надо озаботиться созданием необходимых условий внешних. Легко дога-

даться, что речь идет о таких периодах (месяца полтора, два в году), когда современный человек, освободясь от работы ради хлеба насущного, может позволить себе уединиться среди природы. Мне думается, летом условия благоприятнее, потому что именно летом, при высоком стоянии солнца, развитии растительности и обнажении земной поверхности и водных пространств, активность стихий умножается во много раз за счет участия новых и новых слоев их. Не говорю уж о том, что обычно именно летом горожане уезжают в отпуска, то есть хоть на месяц получают возможность общения с Природой. Хотя, надо сказать прямо, за месяц далеко не продвинешься, а в двухнедельные отпуска предпринимать подобные попытки и вовсе бесполезно. Оговорюсь также, что некоторым из нас зимняя природа индивидуально ближе, и в таких случаях, конечно, следует считаться с этой предрасположенностью.

Может быть, от меня ждет кто-нибудь точных указаний, вставать тогда-то, ложиться тогда-то, придерживаться такого-то распорядка дня. Таких мелочных рекомендаций я предпочел бы избегать. В чем задача? В том, чтобы войти возможно глубже в Природу, в жизнь стихий, и войти притом не как разрушителю и не как любознательному испытателю, а как сыну, после многолетних скитаний на чужбине возвращающемуся в отчий дом. Для решения такой задачи — одной индивидуальности будет естественнее и полезнее одно, для другой — другое. Я хотел бы только рассказать, какие именно условия помогли мне лично.

Выбрав на это время некоторую, как теперь говорят, «базу» в красивом и, разумеется, малолюдном месте, следовало прежде всего избегать засорения души и ума всякими мелочными житейскими заботами. Нужно было ослабить связь с большим городом, реже пользоваться радио и постараться возможно долее обходиться без газет, если, конечно, мир не находился в состоянии крайне тревожного неравновесия. Быт свой необходимо было упростить, одежду сделать возможно легче, а о существовании обуви забыть совсем. Купаться два-три раза в день в реке, в озере или в море, найдя для этого такое место, где можно оставаться на это время с природой один на один. Читать такие книги, которые способствовали бы мирному, доброжелательному настроению и временами помогали бы мыслям вживаться в глубь Природы; естественно-научная литература не может быть полезна в такие дни, так как настраивает на совершенно другой лад: еще

более уводят в сторону занятия точными науками и техникой. Лучше – хорошие стихи, некоторые классики художественной литературы: Тургенев, Диккенс, Эркман-Шатриан, Тагор (но, конечно, не такие, как Стендаль, Золя, Свифт или Щедрин). Хорошо перечитывать в это время классические произведения детской литературы, вроде «Тома Сойера» или «Детей капитана Гранта», и литературы о детях. Да и частое общение, игры и разговоры с детьми в это время могут только помочь делу. Быть может, некоторых я спугну одним указанием, но, к сожалению, оно совершенно твердо: сведение к минимуму мясной и рыбной пищи и отказ от обильного употребления вина. И – требование совершенно безусловное: чтобы ни охоты, ни рыбной ловли не было и в помине.

В такой атмосфере начинались путешествия: словами «прогулки» или «экскурсии» их называть не хочется. Это были уходы на целый день, от зари до заката, или на три-четыре дня вместе с ночевками – в леса, в блуждания по проселочным дорогам и полевым стежкам, через луга, лесничества, деревни, фермы, через медленные речные перевозки, со случайными встречами и непринужденными беседами, с ночлегами – то у костра над рекой, то на поляне, то в стогу, то где-нибудь на деревенском сеновале. Близости к машинам, разговоров на технические темы и чтения подобной литературы я всячески избегал, разве что пользуясь иногда механическим транспортом. Потом – возвращение на свою уединенную «базу», несколько дней отдыха и слушания крика петухов, шелеста вершин да голосов ребят и хозяев, чтение спокойных, глубоких и чистых книг – и снова уход в такое вот бродяжничество. Этот образ жизни может вызвать иной раз недоумение, подшучивание; на понимание рассчитывать не нужно, а люди, занятые на сельских работах, даже склонны будут видеть в таком чуде праздношатающегося лентяя: большинство крестьян пока что умеют считать делом только свою собственную работу. Это не должно смущать. Надо уметь пренебрегать чужим мнением, если чувствуешь собственную правоту.

Но все это – указания о внешнем. Можно все лето до изнеможения слоняться по лесам и полям, а вернуться ни с чем. Внешние условия должны быть дополнены некоторыми усилиями ума и чувства. В чем они заключаются?

В том, что человек постепенно приучается воспринимать шум лесного океана, качание трав, течение облаков и рек, все глоса и движения видимого мира как *живое*, глубоко *осмысленное* и

к нему *дружественное*. Будет усиливаться, постепенно охватывая все ночи и дни. чувство, неизменно царящее над сменой других мыслей и чувств: как будто, откидываясь навзничь, опускаешь голову все ниже и ниже в мерцающую тихим светом, укачивающую глубь — извечную, любящую, родимую. Ощущение ясной отрады, мудрого покоя будет поглощать малейший всплеск суеты; хорошо в такие дни лежать, не считая времени, на речном берегу и бесцельно следить прохладную воду, сверкающую на солнце. Или, лежа где-нибудь среди старого бора, слушать органнй шум вершин да постукивание дятла. Надо доверять тому, что стихии — Ли у р н ы уже радуются тебе и заговорят с твоим телом, как только оно опустится в текучую плоть их; что стихии — Ф а л ь т о р ы или А р а ш а м ф а уже поют тебе песни шелестящей листвой, жужжанием пчел и теплыми воздушными дуновениями. Когда по заливным лугам, пахнущим свежескошенным сеном, будешь возвращаться на закате домой с далекой прогулки, поднимаясь в нагретый воздух пригорков и опускаясь в прохладные низины, а тихий туман начнет заливать все, кроме верхушек стогов, — хорошо снять рубашку и пусть ласкают горячее тело этим туманом те, кто творит его над засыпающими лугами.

Можно было бы указать еще сотни таких минут — от загорания на песке до собирания ягод — полудействия, полусозерцания, — но о них догадается и без указаний тот, кто вступит на этот легкий и светлый путь. Ведь такой уклад возможен не только в Средней России, но и в природном ландшафте любой другой страны, от Норвегии до Эфиопии, от Португалии до Филиппин и Аргентины. Соответственно будут меняться только детали, но ведь они могут меняться и в пределах одного ландшафта сообразно личным наклонностям. Главное — создать внутри себя этот свет и легкость и повторять подобные периоды, по возможности, каждый год.

— Что за нелепость, — подумают иные. — Как будто мы не располагаем исчерпывающими данными, отчего и как возникают туманы, ветер, роса, не знаем механики образования дождя, рек, растительности? И такие сказки преподносятся с серьезным видом в середине XX столетия! Недаром автор намекает на то, что ему легче столкнуться с детьми: зрелому человеку не пристало слушать такие басни.

Они заблуждаются, эти абсолютисты научного метода познания: ни малейшего противоречия науке здесь не имеется. Подчеркиваю: науке, объективной и серьезной, а не фило-

софской доктрине материализма. Ведь если бы существовало какое-нибудь разумное микроскопическое существо, изучающее мой организм и само в него входящее, оно имело бы основание сказать, в ту минуту, как я шевельнул рукой, что эта глыба вещества, состоящая из таких-то и таких-то молекул, дернулась оттого, что сократились некоторые ее части — мускулы. Сократились же они потому, что в моторных центрах произошла такая-то и такая-то реакция, а реакция была вызвана какими-то и такими-то причинами химического порядка. Вот и все! Ясно как день. И уж, конечно, такой толкователь возмущился бы, если бы ему вздумали указать, что «глыба» шевельнулась потому, что таково было желание ее обладателя, свободное, осознанное желание, а мускулы, нервы, химические процессы и прочее — только передаточный механизм его воли.

Изучением этого механизма занимается физиология. Это не мешает существованию психологии — науки о том сознании, которое этим механизмом пользуется.

Изучением стихий природы как механизмов занимаются метеорология, аэродинамика, гидрология и ряд других наук. Это не должно и не будет мешать со временем возникновению учения о стихиях, о тех сознаниях, которые пользуются этими механизмами.

Лично у меня все началось в знойный летний день 1929 года вблизи городка Триполье на Украине. Счастливо усталый от многоверстной прогулки по открытым полям и по кручам с ветряными мельницами, откуда распахивался широчайший вид на ярко-голубые рукава Днепра и на песчаные острова между ними, я поднялся на гребень очередного холма и внезапно был буквально ослеплен: передо мной, не шевелясь под низвергающимся водопадом солнечного света, простиралось необозримое море подсолнечников. В ту же секунду я ощутил, что над этим великолепием как бы трепещет невидимое море какого-то ликующего, живого счастья. Я ступил на самую кромку поля и, с колотящимся сердцем, прижал два шершавых подсолнечника к обеим щекам. Я смотрел перед собой, на эти тысячи земных солнц, почти задыхаясь от любви к ним и к тем, чье ликование я чувствовал над этим полем. Я чувствовал странное: я чувствовал, что эти невидимые существа с радостью и с гордостью вводят меня, как дорогого гостя, как бы на свой удивительный праздник, похожий и на мистерию, и на пир. Я осторожно ступил шага два в гущу растений и, закрыв

глаза, слушал их прикосновения, их еле слышно позванивающий шорох и пылающий повсюду божественный зной. С этого началось. Правда, я вспоминаю переживания этого рода, относящиеся к более ранним годам, отроческим и юношеским, но тогда они не были еще такими захватывающими. Но и раньше, и позже — не каждый год, но иногда по нескольку раз за одно лето — случались среди природы, обязательно наедине, минуты странной, опьяняющей радости. Они являлись, по большей части, тогда, когда за плечами оставались уже сотни верст, пройденных пешком, и когда я неожиданно попадал в незнакомые мне места, отмеченные пышностью и буйством свободно развивающейся растительности. Весь, с головы до ног, охваченный восторгом и трепетом, я продирался, не помня ни о чем, сквозь дикие заросли, сквозь нагретые солнцем болота, сквозь хлещущие кусты и наконец бросался в траву, чтобы осязать ее всем телом. Главное было в том, что я в эти минуты явственно осязал, как любят меня и льются сквозь меня невидимые существа, чье бытие таинственно связано с этой растительностью, водой, почвой.

В последующие годы я проводил лето, по большей части, в области Брянских лесов, и там произошло со мною многое, воспоминание о чем составляет отраду моей жизни, но особенно люблю я вспоминать свои встречи со стихиями Лиурны — теми, кого я тогда называл мысленно душами рек.

Однажды я предпринял одинокую экскурсию, в течение недели странствуя по Брянским лесам. Стояла засуха. Волокнами синеватой мглы тянулась гарь лесных пожаров, а иногда над массивами соснового бора поднимались беловатые, медленно менявшиеся дымные клубы. В продолжение многих часов довелось мне брести по горячей песчаной дороге, не встречая ни источника, ни ручья. Зной, душный как в апельсиновом саду, вызывал томительную жажду. Со мной была подробная карта этого района, и я знал, что вскоре мне должна попасться маленькая речушка, — такая маленькая, что даже на этой карте над нею не обозначалось никакого имени. И в самом деле: характер леса начал меняться, сосны уступили место кленам и ольхе. Вдруг раскаленная, обжигавшая ноги дорога заскользила вниз, впереди зазеленела поемная луговина, и, обогнув кучу деревьев, я увидел в десятке метров перед собой излучину долгожданной речки: дорога пересекала ее вброд. Что за жемчужина мироздания, что за прелестное Божье дитя смеялось мне навстречу! Шириной в несколько шагов,

вся перекрытая низко нависавшими ветвями старых раkit и ольшаника, она струилась точно по зеленым пещерам, играя мириадами солнечных бликов и еле слышно журча.

Швырнув на траву тяжелый рюкзак и сбрасывая на ходу немудрящую одежду, я вошел в воду по грудь. И когда горячее тело погрузилось в эту прохладную влагу, а зыбь теней и солнечного света задрожала на моих плечах и лице, я почувствовал, что какое-то невидимое существо, не знаю из чего сотканное, охватывает мою душу с такой безгрешной радостью, с такой смеющейся веселостью, как будто она давно меня любила и давно ждала. Она была вся как бы тончайшей душой этой реки, — вся струящаяся, вся трепещущая, вся ласкающая, вся состоящая из прохлады и света, беззаботного смеха и нежности, из радости и любви. И когда, после долгого пребывания моего тела в ее теле, а моей души — в ее душе, я лег, закрыв глаза, на берегу под тенью развесистых деревьев, я чувствовал, что сердце мое так освежено, так омыто, так чисто, так блаженно, как могло бы оно быть когда-то в первые дни творения, на заре времен. И я понял, что происшедшее со мной было на этот раз не обыкновенным купанием, а настоящим омовением в самом высшем смысле этого слова.

Быть может, кто-нибудь сказал бы, что и он жила в лесах и купался в реках, и он хаживал по лесам и полям, и он, стоя на теревинном току, испытывал состояние единения с природой, и, однако же, ничего, схожего со стихиялями, не ощутил. Если так скажет охотник, удивляться будет нечему: в этом разрушителе природы стихиили видят врага и осквернителя, и нет более верного способа сделать невозможной их близость, как захватить с собой в лес охотничье ружье. Если же это скажет не охотник — пусть он со вниманием припомнит недели своей жизни среди природы и сам обнаружит свои нарушения тех условий, о которых я с самого начала предупреждал.

Нельзя, конечно, заранее определить длительность этапов этого познания: сроки зависят от многих обстоятельств, объективных и личных. Но рано или поздно наступит *первый день*: внезапно ощутишь всю Природу так, как если бы это был первый день творения и земля блаженствовала в райской красоте. Это может случиться ночью у костра или днем среди ржаного поля, вечером на теплых ступеньках крылечка или утром на росистом лугу, но содержание этого часа будет везде одно и то же: головокружительная радость первого космического прозрения. Нет, это еще не означает, что внутреннее зрение раскрылось: ничего,

кроме привычного ландшафта, еще не увидишь, но его многослойность и насыщенность духом переживешь всем существом. Тому, кто прошел сквозь это первое прозрение, стихии станут еще доступнее; он будет все чаще слышать какими-то, не имеющими названия в языке, способностями души повседневную близость этих дивных существ. Но суть «первого прозрения» уже в другом, высшем. Оно относится не к трансфизическому познанию только, но и к тому, для которого мне не удалось найти иного названия, кроме старинного слова «вселенский». В специальной литературе этот род состояний освещался многими авторами. Уильям Джемс называет его прорывом космического сознания. По-видимому, оно может обладать весьма различной окраской у различных людей, но переживание космической гармонии остается его сутью. Методика, которую я описал в этой главе, способна, в известной мере, приблизить эту минуту, но не следует надеяться, что такие радости станут частыми гостями дома нашей души. С другой стороны, состояние это может охватить душу и безо всякой сознательной подготовки: такой случай описывает, например, в своих «Воспоминаниях» Рабиндранат Тагор.

Легко может стать, что человек, не раз испытывавший среди Природы чувство всеобщей гармонии, подумает, что это и есть то, о чем я говорю. О нет. Прорыв космического сознания — событие колоссального субъективного значения, каких в жизни одного человека может быть весьма ограниченное число. Оно приходит внезапно. Это — не настроение, не наслаждение, не счастье, это даже не потрясающая радость, — это нечто большее. Потрясающее действие будет оказывать не оно само, а скорее воспоминание о нем; само же оно исполнено такого блаженства, что правильнее говорить в связи с ним не о потрясении, а о просветлении.

Состояние это заключается в том, что Вселенная — не Земля только, а именно Вселенная — открывается как бы в своем высшем плане, в той божественной духовности, которая ее пронизывает и объемлет, снимая все мучительные вопросы о страдании, борьбе и зле.

В моей жизни это совершилось в ночь полнолуния на 29 июля 1931 года в тех же Брянских лесах, на берегу небольшой реки Неруссы. Обычно среди природы я стараюсь быть один, но на этот раз случилось так, что я принял участие в небольшой общей экскурсии. Нас было несколько человек — подростки и мо-

лодежь, в том числе один начинающий художник. У каждого за плечами имелась котомка с продуктами, а у художника еще и дорожный альбом для зарисовок. Ни на ком не было надето ничего, кроме рубахи и штанов, а некоторые скинули и рубашку. Гуськом, как ходят негры по звериным тропам Африки, беззвучно и быстро шли мы — не охотники, не разведчики, не изыскатели полезных ископаемых, просто — друзья, которым захотелось поночевать у костра на знаменитых плесах Неруссы.

Необозримый, как море, сосновый бор сменился чернолесьем, как всегда бывает в Брянских лесах вдоль пойм речек. Высились вековые дубы, клены, ясени, удивлявшие своей стройностью и вышиной осины, похожие на пальмы, с кронами на головокругооборотной высоте; у самой воды серебрились округлые шатры добродушных ракит, нависавших над заводами. Лес подступал к реке точно с любовной осторожностью: отдельными купами, перелесками, лужайками. Ни деревень, ни лесничеств... Пустынность нарушалась только нашей едва заметной тропкой, оставленной косарями, да закругленными конусами стогов, высившихся кое-где среди полей в ожидании зимы, когда их перевезут в Чухраи или в Непорень по санной дороге.

Плёсов мы достигли в предвечерние часы жаркого, безоблачного дня. Долго купались, потом собрали хворост и, разведя костер в двух метрах от тихо струившейся реки, под сенью трех старых ракит, сготовили немудрящий ужин. Темнело. Из-за дубов выплыла низкая июльская луна, совершенно полная. Мало-помалу умолкли разговоры и рассказы, товарищи один за другим уснули вокруг потрескивавшего костра, а я остался бодрствовать у огня, тихонько помахивая для защиты от комаров широкой веткой.

И когда луна вступила в круг моего зрения, бесшумно передвигаясь за узорно-узкой листвой развесистых ветвей ракиты, начались те часы, которые остаются едва ли не прекраснейшими в моей жизни. Тихо дыша, откинувшись навзничь на охапку сена, я слышал, как Нерусса струится не позади, в нескольких шагах за мною, но как бы сквозь мою собственную душу. Это было первым необычайным. Торжественно и бесшумно в поток, струившийся сквозь меня, влилось все, что было на земле, и все, что могло быть на небе. В блаженстве, едва переносимом для человеческого сердца, я чувствовал так, будто стройные сферы, медлительно вращаясь, плыли во всемирном хороводе, но сквозь меня; и все, что я мог помыслить или во-

образить, охватывалось ликующим единством. Эти древние леса и прозрачные реки, люди, спящие у костров, и другие люди — народы близких и дальних стран, утренние города и шумные улицы, храмы со священными изображениями, моря, неустанно покачивающиеся, и степи с колышущейся травой — действительно все было во мне тою ночью, и я был во всем. Я лежал с закрытыми глазами. И прекрасные, совсем не такие, какие мы видим всегда, белые звезды, большие и цветущие, тоже плыли со всей мировой рекой, как белые водяные лилии. Хотя солнца не виделось, было так, словно и оно тоже текло где-то вблизи от моего кругозора. Но не его сиянием, а светом иным, никогда мною не виданным, пронизано было все это, — все, плившее сквозь меня и в то же время баюкавшее меня, как дитя в колыбели, со всеутоляющей любовью.

Пытаясь выразить словами переживания, подобные этому, видишь отчетливее, чем когда бы то ни было, нищету языка. Сколько раз пытался я средствами поэзии и художественной прозы передать другим то, что совершилось со мною в ту ночь. И знаю, что любая моя попытка, в том числе и вот эта, никогда не даст понять другому человеку ни истинного значения этого события моей жизни, ни масштабов его, ни глубины.

Позднее я старался всеми силами вызвать это переживание опять. Я создавал все те внешние условия, при которых оно совершилось в 1931 году. Много раз в последующие годы я ночевал на том же точно месте, в такие же ночи. Все было напрасно. Оно пришло ко мне опять столь же внезапно лишь двадцать лет спустя, и не в лунную ночь на лесной реке, а в тюремной камере.

О, это еще только начало. Это еще не то просветление, после которого человек становится как бы другим, новым — просветленным в том высшем смысле, какой влагается в это слово великими народами Востока. То просветление — священнейшее и таинственнейшее: это раскрытие духовных очей.

Большого счастья, чем полное раскрытие внутреннего зрения, слуха и глубинной памяти, *на Земле нет*. Счастье глухого и слепорожденного, внезапно, в зрелые годы пережившего раскрытие телесного зрения и слуха, — лишь тусклая тень.

Об этом я могу только повторять, если можно так выразиться, понаслышке. Есть замечательная страница в поэме Эдвина Арнольда «Свет Азии», где описывается такое состояние, сделавшее одного искателя тем, кто ныне известен всему человечеству как Гаутама Будда.

Вот это описание.

Речь идет о вступлении Будды в состояние «абхиджны» — широкое прозрение «в сферы, не имеющие названий, в бесчисленные системы миров и солнц,двигающихся с поразительной правильностью, мириады за мириадами... где каждое светило является самостоятельным целым и в то же время частью целого — одним из серебристых островов на сапфировом море, вздымающемся в бесконечном стремлении к переменам. Он видел Владык Света, которые держат миры невидимыми узами, а сами покорно движутся вокруг более могущественных светил, переходя от звезды к звезде и бросая непрерывное сияние жизни из вечно меняющихся центров до самых последних пределов пространства. Все это он видел в ясных образах, все циклы и эпициклы, весь ряд калып и махакалып¹ — до предела времен, которого ни один человек не может охватить разумом. Сакуалу за сакуалой² проникнул он в глубину и высоту и прозревал за пределами всех сфер, всех форм, всех светил, всякого источника движений. То незыблемое и безмолвно действующее Великое, согласно Которому тьма должна развиваться в свет, смерть — в жизнь, пустота — в полноту, бесформенность — в форму, добро — в нечто лучшее, лучшее — в совершеннейшее; это невысказываемое Великое сильнее самих богов: Оно неизменно, невыразимо, первоверховно. Это — Власть созидаящая, разрушающая и воссоздающая, направляющая все и вся к добру, красоте и истине».

Что скажешь на это? Надеяться даже в самом потаенном уголке души на то, что и тебя осенит когда-нибудь подобный час, было бы не гордыней, а простым ребячеством. И тем не менее, утешение в том, что каждая монада человеческая, без малейших исключений, рано или поздно, пусть даже после почти бесконечных времен, может быть, уже совсем в другой, не человеческой форме, в другом мире, достигнет этого состояния, и превзойдет его, и оставит его за собой.

А наше дело — делиться с другими тем лучшим, что мы имеем. Мое лучшее — то, что я пережил на путях трансфизического и метаисторического познания. Затем и пишется эта книга. В двух последних главах я показывал, как сумел, важнейшие вехи своего внутреннего пути. Все дальнейшее будет изложением того, что на этом пути было понято о Боге, об иных мирах и о человечестве. Постараюсь больше не возвращаться к вопросу о

1 Мировые периоды. Калыпа — период от возникновения до разрушения мира.
2 Системы миров.

том, как это было понято; настало время говорить о том, что понято.

Глава 3 ИСХОДНАЯ КОНЦЕПЦИЯ

1. Многослойность

Наш физический слой — понятие, равнозначное понятию астрономической Вселенной, — характеризуется, как известно, тем, что его Пространство обладает тремя координатами, а Время, в котором он существует, — одной. Этот физический слой в терминологии Розы Мира носит наименование Энроф.

На арене современной науки и на арене современной философии все еще длится спор о бесконечности или конечности Энрофа в пространстве, о его вечности или ограниченности во времени, а также о том, охватывается ли Энрофом все мироздание, исчерпываются ли его формами все формы бытия.

Открытие понятия антивещества; возникновение из физической пустоты и даже искусственное извлечение из нее физически материальных частиц, дотоле пребывавших в мире отрицательной энергии; экспериментальное подтверждение теории, указывающей, что физическая пустота Энрофа заполнена океаном частиц другой материальности, — все эти факты суть вехи пути, по которому медлительная наука следует от представлений классического материализма к таким, которые весьма отличны и от них, и от позиций старой идеалистической философии. Очень вероятно, что путаница, которую вносят в эту проблематику сторонники материалистической философии, утверждая, будто бы все ее противники лишь повторяют зады идеализма, — один из приемов в той последней битве, которую дает материалистическое сознание прежде чем съехать, как говорится, на тормозах, сдавая одну свою позицию за другой и уверяя в то же время, будто бы именно это предвиделось и давно утверждалось классиками материализма. В частности, очень любопытно будет наблюдать, к каким ухищрениям прибегнет эта философия в недалеком будущем, когда ей придется, под давлением фактов, вводить в круг своих понятий понятие антиматерии.

Первичность материи по отношению к сознанию, принципиальная познаваемость всей Вселенной и в то же время ее бес-

конечность и вечность — эти наивные тезисы материализма, выработанные на минувших стадиях науки, могут еще удерживаться в обращении лишь путем напряженных натяжек, а главное — благодаря вмешательству сил, имеющих отношение не столько к философии, сколько к полицейской системе. Однако многие тезисы классических религий не выдерживают экзамена современной науки в такой же мере. Новое же познание, метаисторическое и трансфизическое, не покрывая области научных знаний, по существу не противоречит науке ни в чем, а в некоторых вопросах предвосхищает ее выводы.

Понятие многослойности Вселенной лежит в основе концепции Розы Мира. Под каждым слоем понимается при этом такой материальный мир, материальность которого отлична от других либо числом пространственных, либо числом временных координат. Рядом с нами сосуществуют, например, смежные слои, Пространство которых измеряется по тем же трем координатам, но Время которых имеет не одно, как у нас, а несколько измерений. Это значит, что в таких слоях Время течет несколькими параллельными потоками различных темпов. Событие в таком слое происходит синхронически во всех его временных измерениях, но центр события находится в этом или в двух из них. Ощутительно представить себе это, конечно, нелегко. Обитатели такого слоя, хотя действуют преимущественно в одном или двух временных измерениях, но существуют во всех них и сознают их все. Эта синхроничность бытия дает особое ощущение полноты жизни, неизвестное у нас. Немного опережая ход изложения, добавлю сейчас, что большое число временных координат в сочетании с минимальным (одна, две) числом пространственных становится для обитателей таких слоев, напротив, источником страдания. Это схоже с сознанием ограниченности своих средств, со жгучим чувством бессильной злобы, с воспоминанием о заманчивых возможностях, которыми субъект не в состоянии воспользоваться. Подобное состояние в Энрофе некоторые из нас назвали бы «кусанием локтей» или мукою Тантала.

За редкими исключениями, вроде Энрофа, число временных измерений превышает, и намного, число пространственных. Слоев, имеющих свыше шести пространственных измерений, в Шаданакаре, кажется, нет. Число же временных достигает в высших из этих слоев брамфатуры огромной цифры — двести тридцать шесть.

Неправильно было бы думать, перенося специфические особенности Энрофа на другие слои, будто все преграды, отделяющие слой от слоя, непременно так же малопроницаемы, как преграды, отделяющие Энроф от слоев других измерений. Встречаются, правда, преграды, ограничивающие один слой, и еще менее проницаемые, еще плотнее изолирующие его от остальных. Но таких мало. Гораздо больше таких групп слоев, внутри которых переход из слоя в слой требует от существа не смерти или труднейшей материальной трансформы, как у нас, но лишь особых внутренних состояний. Есть и такие, откуда переход в соседние обусловлен не большим количеством усилий, чем, скажем, переход из одного государства земного Энрофа в другое. Несколько таких слоев складываются в систему. Каждую такую систему слоев или ряд миров я привык мысленно называть индийским термином сакуала. Впрочем, наряду с сакуалами встречаются и слои-одиночки, подобно Энрофу.

Слои и целые сакуалы разнствуют между собой также и характером протяженности своего пространства. Отнюдь не все они обладают протяженностью космической, какой обладает Энроф. Как ни трудно это вообразить, но пространство многих из них гаснет на границах солнечной системы. Другие еще локальнее: они как бы заключены в пределах нашей планеты. Немало даже таких, которые связаны не с планетой в целом, а лишь с каким-нибудь из ее физических пластов или участков. Ничего, схожего с небом, в таких слоях, понятное дело, нет.

Будучи связаны между собой общими метаисторическими процессами, обладая — в большинстве — как бы парой враждующих духовных полюсов, все слои каждого небесного тела составляют огромную, тесно взаимодействующую систему. Я уже говорил, что такие системы называются брамфатурами. Общее число слоев в некоторых из них ограничивается единицами, а других — насчитывает несколько сот. Кроме Шаданакара, общее число слоев которого ныне двести сорок два, в Солнечной системе существуют теперь брамфатуры Солнца, Юпитера, Сатурна, Урана, Нептуна, Луны, а также некоторых спутников больших планет. Брамфатура Венеры находится в зародыше. Остальные планеты и спутники столь же мертвы в других слоях своих, как и в Энрофе. Это — руины погибших брамфатур, покинутых всеми монадами, либо не являвшиеся брамфатурами никогда.

Многослойные системы материальностей, до некоторой степени аналогичные брамфатурам, но несравненно более колос-

сальные, объемлют некоторые звездные группы, например — большинство звезд Ориона или систему двойной, со многими планетами, звезды Антарес; еще колоссальнее системы галактик и всей Вселенной. Это — макробрамфатуры. Известно, что есть макробрамфатуры с огромным числом разноматериальных слоев — до восьми тысяч. Ничего, схожего с крайней материальной разряженностью, так называемой «пустотой» Энрофа, в макробрамфатурах нет.

Легко понять, что макробрамфатуры находятся вне досягаемости даже для величайших из человеческих душ, ныне обитающих в Энрофе. Иначе, чем в отдаленных предчувствиях, никаких конкретных сведений о них не может непосредственно почерпнуть никто. Такие сведения иногда достигают до нас от высоких духов Шаданакара, неизмеримо более великих, чем мы, через посредство невидимых друзей нашего сердца. Но и такие сообщения крайне трудны для нашего восприятия. Так, мне было почти невозможно понять странную и скорбную весть о том, что в макробрамфатурах нашей Галактики существует материальный слой, где есть пространство, но нет времен, — нечто вроде дыры во Времени, притом внутри себя обладающей, однако, движением. Это — страдалище великих демонов, царство темной вечности, но не в смысле бесконечно длящегося Времени, а в смысле отсутствия всяких времен¹. Такая вечность не абсолютна, ибо Время может возникнуть и там, и именно в этом — одна из задач огромных циклов космического становления. Потому что только возникновение времен сделает возможным освобождение из этого галактического ада великих страдальцев, заключенных там.

Молекулы и некоторые виды атомов входят в состав крошечных систем — микробрамфатур, причем существование некоторых из них во времени исчезающе мало. Однако это довольно сложные миры, и не следует упускать из виду, что элементарные частицы — живые существа, а иные из них обладают свободой воли и вполне разумны. Но общение с ними, а тем более личное, непосредственное проникновение в микробрамфатуры фактически невозможно. Ни в одном из слоев Шаданакара нет в настоящее время ни одного существа, на это способного: это пока превышает силы даже Планетарного Логоса. Только в макробрамфатурах Галактики действуют духи столь невообразимой мощи и

1 Отмечу попутно, что различие двух значений слова «вечность» до сих пор очень мало осознано нашей философской мыслью.